

В. Д. ЗЁРНОВ

ЗАПИСКИ РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА



Владимир Дмитриевич Зёрнов

Записки русского интеллигента

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10442641
Записки русского интеллигента: Индрик; Москва; 2005
ISBN 5-85759-319-0

Аннотация

Владимир Дмитриевич Зёрнов (1878–1946), доктор физико-математических наук, один из семи первых профессоров-учредителей Саратовского университета, прожил яркую, интересную жизнь. Значимость его фигуры как физика и ученика П. Н. Лебедева, а также как педагога, несомненна. Но в ещё большей степени современному читателю будет интересно и поучительно узнать из воспоминаний учёного, как жил типичный представитель интеллигенции в России до и после 1917 года, насколько широк был круг интересов и знакомств человека науки, как формировалась его личность и протекала его деятельность. Для широкого круга читателей, интересующихся историей российской интеллигенции, вопросами культурного, научного и общественного процессов конца XIX – начала XX вв. как внутри России, так и за её пределами.

Содержание

Владимир Дмитриевич Зёрнов и его воспоминания	6
Записки русского интеллигента	41
Вместо предисловия { 54 }	41
Часть первая (1878–1897)	43
Часть вторая (1897–1900)	100
Конец ознакомительного фрагмента.	107
Комментарии	

Владимир Зёрнов

Записки русского интеллигента

Рецензенты:

доктор физико-математических наук, академик РАН

В. Л. Гинзбург;

доктор филологических наук, профессор СГУ И. Н. Горелов;

кандидат исторических наук,

учёный секретарь СПб ИИ РАН Б. Б. Дубенцов

© Публ., вступ. статья, коммент., указ. имён. В. А. Соломонов, 2005

© Издательство «Индрик», 2005

* * *



Mr. B. Beaul

Владимир Дмитриевич Зёрнов и его воспоминания

«Живо представляется его благородный облик как учёного, блестящего организатора – основоположника и руководителя кафедры, достойнейшего ректора Саратовского университета, прекрасного музыканта, редкого и примерного семьянина и чуткого, добрейшего человека»^[1].

Эти строки из письма профессора Н. Е. Осокина, посланного им Е. В. Зёрновой сразу после известия о смерти её мужа и своего стародавнего товарища по службе в Саратовском университете. Справедливость такой оценки подтверждается и другими свидетельствами, сохранившимися в личном архиве В. Д. Зёрнова. Так, с одинаковым волнением читаются письма к учёному и его жене и от бывшего кучера Саратовского университета Петра Бирюкова, и от учёного-физика профессора Московского университета А. К. Тимирязева, и немногословные и бесхитростные студенческие записки с выражением признательности и благодарности лектору. Все эти высказывания роднит и объединяет, на мой взгляд, одна главная особенность В. Д. Зёрнова, образно отмеченная однажды его двоюродным братом, историком живописи, членом-корреспондентом Академии художеств Н. Е. Машковцевым. «Встреча с Вами, – писал он, – для меня всегда боль-

шой праздник. С детства делил я всех людей на светлых и тёмных, и Вы – один из самых светлых. И сквозь кольцо зла я прорываюсь к Вам, зная, что всегда встречу Вашу ласку и симпатию»^[2].

Родился Владимир Дмитриевич Зёрнов 1 (13) мая 1878 года в Москве в профессорской семье, несколько поколений которой внесли существенный вклад в становление и развитие отечественного университетского образования.

Его отец, профессор анатомии и ректор (с 8 августа 1898 по 7 августа 1899 гг.) Московского университета Дмитрий Николаевич Зёрнов, благодаря многогранному таланту – учёного, педагога, общественного деятеля – и весьма прогрессивным для своего времени взглядам, пользовался большим авторитетом в среде московской научной интеллигенции. Отзываясь об учёном, И. Алексинский писал: «Представительный, несколько чопорный, всегда тщательно одетый профессор анатомии Д. Н. Зёрнов, за которым укрепилось среди его помощников и студентов название «генерал». Однако его «генеральство» не мешало ему быть солидным учёным и хорошим преподавателем. Он отличался большой требовательностью к своим подчинённым, был строгим экзаменатором, но в своём требовании дисциплинированной научной работы не делал исключения для себя. Обширное, хорошо поставленное руководство по анатомии и богатый музей остались памятниками его профессуры в Московском университете»^[3]. Другой бывший студент Московского уни-

верситета С. Абрамов, характеризуя общественно-политический облик Дмитрия Николаевича, вспоминал: «Зёрнов далеко не был либералом, но он был единственным за все девяностые годы ректором, который выступал на студенческих сходках, стараясь внести успокоение. Когда же состоялись первые высылки, он, недолго думая, надел звезду и поехал к [великому князю]

Сергею Александровичу (московскому генерал-губернатору) с протестом против действий полиции. [...] Вернувшись с приёма, Зёрнов подал в отставку»^[4].

К популярным профессорам Московского университета принадлежал и дед Владимира Дмитриевича – Николай Ефимович Зёрнов, защитивший первую в России докторскую диссертацию по математике – «Рассуждения об интеграции уравнений с частными дифференциалами» (М., 1837). Его популярность, по свидетельству профессора Н. А. Любимова, проистекала не из того, что «...молодёжь видела в нём представителя новых идей, к которым она иной раз чувствует столь неразборчивую склонность, не потому, чтобы он считался блестящим импровизатором или модным преподавателем. Он пользовался менее эффектной и более патриархальной популярностью наставника, с увлечением преданного своему делу, чувствующего себя среди учеников вполне на своём месте; [...] кто желал не только прочесть лекцию, но и действительно научить. [...] Я не припомню, – отмечал далее Н. А. Любимов, – чтоб в продолжении моего

университетского курса Николай Ефимович не был на лекции хотя [бы] один раз. [...] Когда, бывало, уже все профессора окончили свои лекции, Николай Ефимович ещё продолжал преподавание: читал до мая, читал в мае, читал накануне экзамена, читал после экзамена. И не было примера, чтоб студенты не пришли на эти лекции вне обычного времени. Николай Ефимович пользовался заслуженным уважением слушателей...»^[5].

Поражало современников в личности Н. Е. Зёрнова и ещё одно весьма редкое для того времени качество: его способность, несмотря на врождённое чинопочитание, всегда и во всём сохранять чувство собственного достоинства. Констатируя сей факт, Н. А. Любимов восклицал: «...человек, в котором чинопочитание было одним из самых характеристических качеств, формализм которого в обращении доходил иногда до излишества, который чувствовал какой-то пиетет ко всему начальствующему, который в интимной переписке выражался о властях не иначе как в самых почтительных выражениях – этот человек вовсе не был искателен, никогда не был близок с начальствующими лицами, держал себя постоянно в стороне, и, может быть, потому, в продолжении своей долгой службы, никогда не пользовался каким-либо вниманием начальствующих лиц»^[6].

Несмотря на разночинское происхождение Н. Е. Зёрнова (дед был священником в селе Зернилово Владимирской губернии, а отец, окончивший духовную семинарию и Мос-

ковский университет, служил в иностранной коллегии Московского почтамта), его усердие и преданность делу российского просвещения были щедро вознаграждены – начиная с него самого все последующие представители рода Зёрновых вошли в разряд потомственных дворян.

С полным основанием можно было бы отнести к любому из членов большой династии Зёрновых слова Н. А. Любимова о Н. Е. Зёрнове: «Он любил университет, чтит его обычаи и [...] всегда готов был принять участие во всяком заявлении в честь дорогого учреждения. Он имел патриотизм старого русского человека, тот патриотизм, благодаря которому в двенадцатом году русский народ отстоял свою землю...»^[7].

Заметный след в отечественной истории оставили представители рода Зёрновых и по линии матери Владимира Дмитриевича – Марии Егоровны, урождённой Машковцевой, дочери потомственного почётного гражданина города Вятки и действительного студента Императорского Московского университета. В 1844 году её отец, отставной штабс-ротмистр Чугуевского уланского полка Егор Петрович Машковцев, «в воздаяние ревностных его [...] заслуг», как говорилось в специально выданной по этому случаю грамоте, был произведён по Высочайшему повелению «в вечные времена в честь и достоинство Нашей Империи, в Дворянство равнообретающемуся»^[8], передаваемое по наследству. Имя Е. П. Машковцева хорошо известно историкам русского освободительного движения. Не принимая активного лично-

го участия в нём, он тем не менее дружил с одним из лидеров этого движения – А. И. Герценом, нередко оказывая ему содействие, особенно в период его вятской ссылки^[9].

В этой высоконравственной и культурной атмосфере рос и воспитывался В. Д. Зёрнов, из неё черпал он богатство души и радость дружеского общения. Судьба его распорядилась таким образом, что с раннего детства – сначала косвенно, присутствуя при разговорах старших, а позже, став студентом и преподавателем, вполне осознанно – он окунулся в самую гущу университетской жизни, что, безусловно, отразилось на всей его дальнейшей биографии: он навсегда избрал стезю учёного и педагога.

Окончив в 1897 году 5-ю московскую гимназию, Владимир Дмитриевич поступил на физико-математический факультет Московского университета, где и начал самостоятельные научные исследования. К этой поре относится возникновение крепкой дружбы студента Зёрнова и профессора физики П. Н. Лебедева. И хотя взаимоотношения между ними были далеко не безоблачными, Владимир Дмитриевич на всю жизнь сохранил самые тёплые чувства к своему первому наставнику и другу, а о своей работе в лаборатории Лебедева всегда говорил как о самых лучших годах в своей научно-творческой деятельности^[10].

Не вдруг и не сразу овладел В. Д. Зёрнов умением и навыками физика-экспериментатора. Сначала были и неудачи, и разочарования, о чём свидетельствует письмо Н. П. Касте-

рина П. Н. Лебедеву от 22 ноября 1901 года: «Зёрнов больше щёлкает на своих счётах; он отставил камертон подальше, на окно, и получил смещение *maximum*'а резонансной кривой и значительное расширение в нижней её части (максим[альная] амплитуда упала при этом незначительно). Было у него крупное недоразумение с вычислением логарифм[ического] декремента, т. к. он считал наблюдаемые им отклонения пропорциональными амплитуде и в этом предположении нашёл декременты, близкие к лейберговским...»^[11].

Нередко В. Д. Зёрнову, лично или через общих знакомых, приходилось выслушивать в свой адрес довольно нелицеприятные отзывы научного руководителя. Одно из таких откровений находим в письме П. Н. Лебедева Н. П. Кастерину от 14 января 1901 года. В нём, делясь своим первым впечатлением от работы начинающего исследователя, Пётр Николаевич писал: «С Зёрновым картина более грустная. Он интересуется процессом работы в лаборатории, но в какой лаборатории, над чем, для чего и как — об этом он не заботится: на то есть начальство! Цель работы он видит в том, чтобы поскорее устроить отсчёт, а потом множить и делить его по какой-нибудь данной формуле и получать цифру. Что такая цифра обозначает — он этим вопросом не мучается, а верит, что это есть “результат”. Я ему несколько раз зимой говорил, что диск Rayleigh'a связан с “квадратом”; он кивал мне в знак согласия, но у меня всё время оставалось сомнение, что мои слова до него не доходят»^[12].

Подобные эпизоды, хотя и вызывали у В. Д. Зёрнова чувство некоторой обиды, позже расценивались им не иначе, как большая и серьёзная школа исследовательского мастерства. В одном из писем к своей будущей жене Е. В. Власовой, он признавался: «Мне самому приходилось при начале самостоятельной работы в лаборатории испытывать ощущение, что почва уходит из-под ног, а помощи от моего профессора не всегда можно было получить – он сам занят, да и находит, что такие моменты имеют хорошее воспитательное значение. Кажется, это верно. По крайней мере, когда сам выпутаешься из затруднения, чувствуешь большое нравственное удовлетворение»^[13].

Под руководством П. Н. Лебедева Владимир Дмитриевич подготовил и в 1902 году представил в Государственную испытательную комиссию два научных сочинения: «Тепловая диссоциация» и «Определение декремента затухания акустических резонаторов». В том же году он окончил университет с дипломом первой степени и по рекомендации своего учителя был оставлен при кафедре физики Московского университета «для приготовления к профессорскому званию»^[14].

Работая одновременно и в физической лаборатории университета, и преподавателем физики в частной женской гимназии Н. П. Щепотьевой, В. Д. Зёрнов в 1904 году добился первой крупной удачи в науке. Его работа «Сравнение методов измерения звуковых колебаний в резонаторе», представ-

ленная в Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, была высоко оценена и удостоена премии имени В. П. Мошнина. Как отмечалось в отзыве, к несомненным достоинствам работы «надо отнести не только предложенный им [В. Д. Зёрновым. – В. С.] остроумный и наглядный способ измерения воздушных колебаний, но и целый ряд сделанных им целесообразных изменений в конструкциях приборов...». Комиссия по присуждению премии единодушно заключила, что Зёрнов «обнаружил большие знания и остроумие и продвинул вперёд весьма важный вопрос...»^[15].

Двумя годами позже выходит и первый печатный труд его на немецком языке: «Über absolute Messungen der Schallintensität» («Сравнение методов измерения абсолютной силы звука»), напечатанный в «Annalen der Physik» – немецком научном издании по физике. На одном из первых корректурных оттисков этой работы стоит сделанная рукой П. Н. Лебедева надпись-напутствие: «Поздравляю Вас с первым, самым важным шагом начинающего учёного. До сих пор Вы только брали – теперь сами даёте. Помните добрый совет: работайте много, сколько можете, но печатайте только тогда, когда вполне разобрались в вопросе, и излагайте только то, что важно узнать читателю-специалисту по данному вопросу. Чем короче и сжатее статья, тем больше читателей, тем больше проку»^[16].

Несмотря на молодость, уже в начале своей научной ка-

рьеры Зёрнов сумел заявить о себе крупными и оригинальными исследованиями, сразу же обратив внимание ведущих учёных физиков как в России, так и за её пределами^[17].

И когда в 1937 году решался вопрос о присвоении ему учёной степени доктора физико-математических наук без защиты диссертации, член-корреспондент АН СССР Н. Н. Андреев особенно выделял работы, выполненные Зёрновым именно в период с 1905 по 1909 годы. «Для правильной оценки этой группы работ В. Д. Зёрнова, – подчеркивалось в его отзыве, – следует иметь в виду, что до них сколько-нибудь надёжных способов измерения силы звука не существовало [...]. Эти работы В. Д. Зёрнова стали классическими. Нельзя себе представить курса акустики, в котором не упоминалось бы об этих работах»^[18].

Стремление учёного как можно глубже и всестороннее разобраться в физике звука вызывалось двумя главными причинами: приверженностью науке и преклонением перед искусством: «Эта область, – вспоминал профессор А. К. Тимирязев, – была особенно ему по душе: она соединила в одно стройное целое его увлечение физикой с его стремлением к искусству – к музыке. Он был не только физиком, но и художником, большим знатоком музыки и прекрасным исполнителем»^[19].

Наука и музыка – вот те два божества, на которых основывалось мировоззрение учёного, которые скрашивали его жизнь, помогая с честью выдержать любые испытания. Его

мастерству игры на скрипке могли бы позавидовать многие профессиональные музыканты. И сам Владимир Дмитриевич, ученик таких прославленных музыкантов, как Карл Антонович Кларрот и Иван Войцехович Гржимали, мог бы стать профессиональным артистом. Судьба же распорядилась по-своему. Артистом он не стал, но, по его собственному признанию, «моя причастность к искусству играла во всю мою жизнь и сейчас играет большую роль»^[20].

После защиты в 1909 году диссертации на тему «Абсолютное измерение силы звука» В. Д. Зёрнов был удостоен учёной степени магистра физики, после чего избран приват-доцентом физико-математического факультета Московского университета и командирован за границу с факультетской стипендией «для усовершенствования в науках». Владимир Дмитриевич работал в Гейдельберге, изучал постановку преподавания физики в высших учебных заведениях Германии и Англии. Ему посчастливилось присутствовать на лекциях В. Рентгена, познакомиться с новейшими физическими исследованиями в лабораториях Э. Резерфорда (Манчестер), Дж. Дж. Томсона (Кембридж) и К. Рикке (Гёттинген)^[21].

Незадолго до защиты Зёрновым магистерской диссертации П. Н. Лебедев рекомендовал молодого учёного в качестве профессора на университетскую кафедру в Варшаву, направив 25 октября 1908 года на имя декана физико-математического факультета Варшавского университета

П. И. Митрофанова личное ходатайство по этому поводу.

«Подходящим кандидатом на кафедру физики, за которого я могу взять на себя полную нравственную ответственность перед Вашим факультетом, – отмечалось в нём, – является мой ученик Владимир Дмитриевич Зёрнов, который ещё студентом и потом, окончив курс в нашем университете, около пяти лет работал очень старательно и успешно в моей лаборатории над „Абсолютными измерениями силы звука”, опубликовал две работы по этому вопросу [...], получил за свои экспериментальные исследования премию Мошнина и в настоящее время, окончив успешно магистерские экзамены, пишет магистерскую диссертацию, продолжая работать в лаборатории.

[...] В. Д. Зёрнов в течение нескольких лет был лаборантом при Физическом институте, вёл занятия со студентами в лаборатории проф[ессора] А. П. Соколова, а также состоял преподавателем физики и математики в средних учебных заведениях – педагогический навык и умение обращаться со студенческой массой у него есть. Как лектора мне приходилось его не раз слышать, [...] – лекторские данные у него хорошие: он умеет ясно, просто и интересно делать доклад. [...]

Вот моё мнение о В. Д. Зёрнове как о возможном кандидате, и я буду очень рад, если факультету угодно будет это мнение выслушать»^[22].

Однако ввиду затянувшихся переговоров с Варшавой

(главной трудностью которых стал, по-видимому, вопрос о правах и полномочиях будущего профессора, ибо, как справедливо считал П. Н. Лебедев, «только при абсолютно независимом пользовании помещением лаборатории, приборами и определённым бюджетом молодой учёный может спокойно и успешно продолжать свои научные работы»^[23]), назначение это не состоялось. К тому же 10 июня 1909 года, после полувековой многострадальной эпопеи всевозможных обращений и ходатайств в высшие правительственные инстанции, на императорской яхте «Штандарт» Николаем II был подписан закон «Об основании университета в г. Саратове и отпуске средств на этот предмет»^[24]. В связи с этим В. Д. Зёрнов кардинальным образом меняет свои планы: отказавшись от туманной перспективы профессорской деятельности в Варшавском университете, он предлагает свою кандидатуру на замещение аналогичной кафедры в Саратове. Помимо родных и близких молодого учёного это его решение с пониманием и одобрением встретил также П. Н. Лебедев. Более того, в своём письменном обращении к старейшине русских физиков, члену совета министра народного просвещения Н. Н. Шиллеру, он лично поддержал это ходатайство.

«...Мой ученик магистр физики Владимир Дмитриевич Зёрнов, – писал по этому поводу Лебедев, – подал в Министерство прошение о зачислении его кандидатом по физике вновь учреждаемого Саратовского университета. Так как

его прошение поступит, вероятно, на Ваше рассмотрение, то я позволил бы себе сказать несколько слов о Зёрнове как о физике: у меня он работал около пяти лет [неразб.] над своей задачей – всегда добросовестно и внимательно, а в случае возникающих сомнений как настоящий физик и притом физик ловкий, умеющий критически относиться к своей работе, не жалел рабочего времени; хотя работа и сделана в моей лаборатории, я всё-таки могу сказать, что сделана она хорошо. Зёрнов принимал деятельное участие в наших коллоквиумах – лектор он хороший: говорит ясно, толково, спокойно и всегда только о том, что ему самому совершенно ясно. Добавлю ещё, что он лет пять был ассистентом у Соколова и имеет достаточный опыт в обхождении со студентами на практических работах. Со своей стороны я бы мог рекомендовать его со спокойной совестью, вполне уверенный, что он любит своё дело, сможет толково его организовать и быть хорошим руководителем»^[25].

Саратовский период жизни и деятельности В. Д. Зёрнова начался с 1 июля 1909 года, когда по высочайшему указу он был утверждён в качестве исполняющего должность экстраординарного профессора по кафедре физики Саратовского университета.

Среди первых семи профессоров только что открывшегося университета Владимир Дмитриевич оказался самым молодым – ему исполнился только 31 год, но это не помешало ему сразу же продемонстрировать свои недюжинные органи-

заторские способности, умение убеждать в необходимости принятия того или иного важного решения. Его личная распорядительность и оперативность в доставке оборудования позволили в кратчайшие сроки, уже в конце сентября 1909 года, начать чтение курса физики не «мелового», как говорится, а экспериментального, с демонстрацией всех необходимых опытов.

В. Д. Зёрнов вошёл также в состав строительной комиссии по возведению собственных зданий университета, после чего главным делом его стала забота о Физическом институте, строительство которого началось 30 апреля 1911 года: «Сегодня, – извещал Владимир Дмитриевич жену, – начали земляные работы по институту. [...] Начали стройку с первой весенней грозой и дождём. Мюфке говорит – это хорошо: „Святой водой начало работ окроплено”»^[26].

Строительство завершилось в конце 1913 года. В. Д. Зёрнов чувствовал себя самым счастливым человеком: «Институт готов. Вот всё, что мне надо. А институтом я очень доволен. Такой он симпатичный. Мне кажется, он симпатичнее всех зданий, или уж оттого, что мой»^[27].

Здесь же, в Саратове, застали В. Д. Зёрнова и революционные события 1917 года. Он с огромным воодушевлением встретил Февральскую революцию и падение самодержавного строя, но довольно прохладно отнёсся к событиям Октября, не в силах, подобно многим другим представителям старой «буржуазной» интеллигенции, адекватно воспринять

идею пролетарской диктатуры. Однако, несмотря ни на какие, даже самые невероятные, перипетии социально-экономической и политической жизни, он продолжал добросовестно исполнять свои обязанности. Возглавив с 5 сентября 1917 года открывшийся в Саратовском университете по решению Временного правительства физико-математический факультет, он старательно собирал для него научно-преподавательский состав: пригласил многих талантливых ученых – физиков и математиков, чьи имена впоследствии прославили отечественную науку: С. А. Богуславского, И. И. Привалова, В. В. Голубева и других.

28 сентября 1918 года В. Д. Зёрнов был избран ректором Саратовского университета. Его ректорство выпало на исключительно тяжёлые в организационном и хозяйственном отношениях годы, проходило в обстановке братоубийственной гражданской войны и полной дестабилизации социально-правовых механизмов, под постоянным нажимом местной администрации, слепо исполнявшей любые распоряжения и предписания новой власти. И только благодаря редкому умению искать и находить приемлемые для всех решения с ролью «первого революционного ректора», на долю которого выпала «ответственная и благодарная задача – преобразовать высшее учебное заведение с одним факультетом в полный университет», Владимир Дмитриевич, по признанию его сослуживцев, «справился с исключительным тактом и успехом, подобрав квалифицированный состав профессо-

ров и преподавателей, наладив учебную и научную работу и организовав сложное хозяйство в тяжёлые годы послевоенной разрухи. Благодаря усилиям Владимира Дмитриевича новый Саратовский университет быстро занял видное место среди высших учебных заведений молодой Советской Республики»^[28].

Вот как вспоминал о том времени сам В. Д. Зёрнов: «Несмотря на очень большие хозяйственные затруднения и сложные взаимоотношения с администрацией, мне удалось без всяких компромиссов довольно благополучно вести университетский корабль, охраняя его независимость, с одной стороны, и не впадая в особые конфликты с общей администрацией, с другой.

[...] За 1919–1920 годы произошли большие изменения в жизни университета: в состав Правления и Совета вошли представители студенческих и городских организаций. Все это совершалось довольно болезненно, но мне удалось провести эти революционные новшества без скандалов и удерживать руководящую роль за основным Советом и Правлением, состоящим из профессоров.

С городскими и губернскими властями – горисполкомом, губисполкомом – отношения были корректные, как между союзными великими державами, а с губоно, пожалуй, даже дружественные...»^[29].

Неожиданную черту в деятельности В. Д. Зёрнова на посту профессора и ректора Саратовского университета подвёл

нелепый и трагический случай – арест учёного Саратовской губчека 9 марта 1921 года по подозрению «в контрреволюционной пропаганде». При обыске, проведённом в его квартире 8 марта, «каких-либо документов в качестве вещественных доказательств не изымалось»^[30], тем не менее он был взят под стражу и отконвоирован в губернскую тюрьму № 3, где к тому времени находилось уже немало представителей саратовской интеллигенции. Скоро выяснилась и непосредственная причина ареста. Ею оказалась лекция на тему «Рассеяние энергии и разумное начало в мироздании», с которой «в период с декабря 1920 по март 1921 года Зёрнов В. Д. „по приглашению коллектива верующих кафедрального собора“ трижды выступал перед прихожанами...»^[31].

Вспоминая об этих выступлениях и характеризуя содержание самих лекций, Владимир Дмитриевич писал: «Говорил я прежде всего о том, что наука и вера – две вещи совершенно различные и что естественно-историческая наука не занимается доказательствами бытия Божия, но и не отрицает разумного начала мира. Говорил также о том, что можно вечное бытие мира рассматривать как результат промысла Божия, что многие великие учёные естествоиспытатели были искренно верующими людьми. А закончил я такой мыслью: верующий имеет преимущество перед неверующим – ему легче жить, легче и умирать»^[32]. Однако, как верно подметил работавший в те годы в Саратовском университете преподавателем английского языка А. В. Бабин, «это утвер-

ждение было опасно для Советской Республики, и лекторы были брошены в тюрьму»^[33].

Важно заметить, что В. Д. Зёрнов никогда и ни при каких обстоятельствах не скрывал своего положительного отношения к вере и религии. Не отказался он от своих убеждений и после ареста. На допросе 31 марта 1921 года Владимир Дмитриевич открыто заявил следователю: «Религию препятствием к осуществлению коммунизма не считаю, в том лишь случае, если её понимать правильно, т. е. как усовершенствование личности. Религия связывает нравственность человека, а потому наука без религии будет однообразна и поведёт к падению нравственного облика человечества. Утверждаю, что мои лекции контрреволюционного характера не имели»^[34].

Неизвестно, чем закончилось бы для учёного и его товарищей по несчастью сидение в губернской тюрьме, если бы в Саратов для выяснения причин массовых арестов не прибыла из Москвы специальная комиссия во главе с П. Г. Смидовичем. Она, прежде всего, потребовала, чтобы местные органы либо предъявили арестованным конкретные обвинения, либо немедленно освободили их. Однако «саратовские власти, которые этот массовый арест осуществили», отреагировали на ультиматум весьма своеобразно. Без тени смущения они заявили, что «обвинений, достаточно обоснованных для возбуждения судебного дела, предъявить не могут, но и освобождать массу людей также не решаются, это-

де произведёт „сенсацию“»^[35]. Тогда председатель комиссии, властью данных ему полномочий, самолично распорядился часть узников освободить непосредственно в Саратове, других же, для определения их дальнейшей участи, препроводить в Москву в распоряжение ВЧК. В числе последних оказался и В. Д. Зёрнов.

В Бутырской тюрьме, куда доставили саратовских пленников, Владимир Дмитриевич сблизился и подружился со многими известными и прославленными в прошлом военачальниками и государственными деятелями. Судьба свела его с военным историком, генералом от инфантерии Андреем Медардовичем Зайончковским – «...любопытным осколком старого, навсегда ушедшего в вечность веков мира». По меткому определению С. Н. Чернова, это был «в меру умный и более чем умный, хитрый и лукавый человек, обезоруживавший светской готовностью врага, подчиняющий его себе своей любезностью царедворца, в которую очень тонко вплетались подкупающие нотки нарочитой грубости старого солдата – будто бы искренней и простой»^[36].

В камере Бутырской тюрьмы также находились: бывший помощник начальника штаба верховного главнокомандующего царской и член Особого совещания при Главкоме Красной армий, генерал от инфантерии Владимир Наполеонович Клембовский; бывший московский генерал-губернатор, товарищ министра внутренних дел и шеф Отдельного корпуса жандармов, генерал-лейтенант Владимир Фёдорович

Джунковский, которого вся тогдашняя тюремная «прислуга [...] помнила ещё своим начальником»^[37]; поэт, журналист и литературный критик, князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский и многие другие.

Соседствуя с этими неординарными личностями, получая от общения с ними, насколько это было возможно в неволе, духовное и нравственное наслаждение, а также участвуя в совместно устраиваемых мероприятиях, В. Д. Зёрнов по-прежнему с неуёмным беспокойством думал о своих близких – жене и малолетних детях. Но прошёл ещё один томительный месяц тюремного заточения, прежде чем стараниями саратовских коллег и представителей московской научной элиты Владимир Дмитриевич, наконец, оказался на свободе. Но вернуться в Саратов ему не разрешили. Причина такого решения до сих пор остаётся загадкой. Нет чёткого разъяснения тому и в выданной Управлением КГБ СССР по Саратовской области справке: «В соответствии с постановлением Президиума ВЧК от 11.05.21 г. Зёрнов В. Д. из-под ареста освобождён без права проживания в Саратовской губернии и оставлением на жительство в г. Москве. Какие-либо обоснования данного постановления в материалах дела отсутствуют»^[38].

Так начался второй период московской жизни и деятельности В. Д. Зёрнова. Как и раньше он отдавал всего себя любимому делу – преподаванию, стремясь поднять слушателей к вершинам научного познания, завораживая их своим ин-

теллектом и обаянием. Один из его новых московских сослуживцев в сентябре 1936 года писал ему: «Под Вашим руководством каждый хотел быть лучше, чем он был в действительности. Хотелось работать, хотелось делать свою работу лучше, не считаясь с обстановкой; даже некоторые „хамствующие“ люди стремились скрыть своё „хамство“ – они хотя бы внешне вели себя культурно. Вы умели заставить людей стать выше своих личных интересов, себялюбия, оскорблённого самолюбия. Верьте, дорогой Владимир Дмитриевич, совместная работа с Вами останется навсегда в моей памяти, как лучшая полоса в моей жизни»^[39].

С весеннего полугодия 1924 года В. Д. Зёрнов заведовал кафедрой физики в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) и по совместительству был профессором Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана (МВТУ; ныне – Московский государственный технический университет). Но, несмотря на загруженность организационно-административной и педагогической работой, Владимиру Дмитриевичу, по его собственному признанию, «удавалось кое-что делать и по научной части»^[40].

К приоритетным направлениям данного периода следует прежде всего отнести его экспериментальную работу по гармоническому анализу^[41], заключавшуюся в разложении периодической функции в ряд Фурье и вычислении коэффициентов этого ряда «...при исследовании акустических кривых

(фонограмм) человеческого голоса, снятых фотографически при помощи прибора Фрелига – Лебедева»^[42]. Для решения поставленной задачи использовались два абсолютно разных метода разложения – табличный, впервые заявленный в 1890 году Германом и в несколько видоизмененном виде предложенный вторично инженером Ципперером, и механический гармонический анализатор, сконструированный доктором Мадером для «нахождения значений интегралов, выражающих коэффициенты A_n и B_n ». В итоге автор с удовлетворением констатировал: «Так как кривые получились строго периодическими, то никакого сомнения в законности приложения гармонического анализа не возникает, операция разложения до крайности проста и при некотором навыке быстро дает хорошие результаты»^[43].

Далее стоит упомянуть серию коллективных исследований по вопросам звуко- и теплопроводности строительных материалов^[44], в разработке которых учёный принимал самое непосредственное участие. Кроме этого, В. Д. Зёрновым был написан выдержавший три издания (в 1925–1928, 1929 и 1931 годах) вузовский учебник по физике – «Конспект лекций по физике» (Ч. 1–3). В январе 1938 года планировалось четвертое его переиздание, явившееся, как ни странно, поводом, чтобы в разгар кампании по выявлению и разоблачению мнимых «врагов народа» обвинить автора учебного пособия в приверженности идеалистическому мировоззрению и преклонении перед западно-буржуазным образом жизни.

«В отношении увязки фактического физического материала, даваемого в книге, с основными положениями диалектического материализма, – говорилось в одной из рецензий на учебник Зёрнова, – следует констатировать, что по существу такой связи совершенно нет. За исключением введения (3 страницы) в книге нигде более не встречается какого-либо методологического обобщения.

Введение же составлено, по-видимому, с целью декларирования материалистических взглядов автора». «На основании всего изложенного, – заключали рецензенты, – мы считаем, что представленная на отзыв книга проф[ессора] Зёрнова абсолютно не годится в качестве учебника для каких бы то ни было школ. В ней полностью отсутствуют основные черты, которыми должен отличаться новый советский учебник: широкая постановка принципиальных вопросов с точки зрения диалектического материализма, высокий теоретический уровень и неразрывная связь с социалистической техникой [курсив мой. – В. С.]»^[45].

Следует отдать должное мужеству и стойкости учёного, который, решительно опровергнув нелепые обвинения в свой адрес, смело вступил в полемику с оппонентами. Реагируя на их жёсткие замечания по поводу своего учебника, В. Д. Зёрнов открыто заявлял: «Рецензенты делают заключение, что «на основании изложенного» рукопись учебника надо выбросить в мусорный ящик, а я думаю, что на основании изложенного можно сделать заключение о предвзятости

мнения рецензентов и о[б] их полном незнании требований технической школы и учащихся в ней, которых они оставляют без всякого учебника. Мой многолетний опыт и опыт моих товарищей педагогов говорит, что студенту-первокурснику, кроме учебника курса, отдельные главы которого пишутся соответствующими специалистами (напр[имер], книга под редакцией Путилова), необходим учебник-конспект, каковым является написанный мной краткий учебник.

Огульное же опорочивание в течение многих уже лет оригинальных учебников физики и печатание только переводных – похоже на опасную болезнь „перестраховки“»^[46].

Неминуемого в подобных случаях печального продолжения этот эпизод, к счастью, не имел. Всё обошлось без трагических эксцессов.

Нельзя не упомянуть в связи с этим и о другом аналогичном случае, также не вызвавшем за собой серьёзных последствий. Речь идёт о докладной записке члена ВКП(б) А. А. Максимова, озаглавленной «В ЦК ВКП(б) о политическом положении на физмате I МГУ» (октябрь 1929 года). В ней, помимо прочего, автор приводит список сотрудников Научно-исследовательского института физики (НИИФа) на 1929 год с предельно краткой формулировкой политической позиции каждого. Среди пятнадцати имён учёных-физиков Московского университета, попавших в поле зрения ретивого осведомителя, стояла и фамилия В. Д. Зёрнова с убийственной характеристикой: *«В научном отношении ничего*

собой не представляет. Антисоветски настроенный. Был удалён по политическим мотивам из Саратовского Ун[иверсите]та [курсив мой. – В. С.]»^[47].

Несмотря на разнообразные коллизии судьбы, Владимир Дмитриевич по-прежнему заведовал кафедрой в МИИТе и читал лекции в МВТУ. В годы Великой Отечественной войны вместе с другими сотрудниками МИИТа он был эвакуирован в Новосибирск и с ними же возвратился обратно в Москву. Однако возраст и выпавшие на долю учёного тяжёлые испытания давали о себе знать. 30 сентября 1946 года во время лекции в МВТУ ему стало плохо. И в тот же день, не приходя в сознание, В. Д. Зёрнов скончался. Причиной смерти явилось обширное кровоизлияние в мозг.

3 октября состоялись похороны Владимира Дмитриевича. Его прах покоится ныне на одном из красивейших и богатейших погостов Москвы – Немецком кладбище, что находится на Введенских горах.

* * *

После себя В. Д. Зёрнов оставил не только добрую и светлую память в сердцах знавших его людей, но и нечто более осязаемое – богатейший и удивительно разнообразный по своему содержанию личный архив. Долгие годы единственной хранительницей его была младшая дочь учёного Мария Владимировна Зёрнова (1911–1993). Незадолго до смер-

ти она передала документальные семейные реликвии для их дальнейшего хранения и использования в научно-исследовательских целях автору настоящей публикации^[48]. Содержащаяся в этом архиве информация открывает широкий простор для исследований каждому, кто интересуется историей российской интеллигенции, культурными, научными и общественными процессами, происходившими на рубеже двух столетий как в родном Отечестве, так и за его пределами.

При первом же знакомстве с семейным собранием архивных документов стало ясно, что в нём представлено множество важных и ценных свидетельств, с помощью которых можно реконструировать незначительные на первый взгляд исторические детали, штрихи повседневной жизни отдельного человека, а через них – и общества в целом. Особенно отчётливо это заметно при изучении рукописи последнего и, к сожалению, незавершённого труда Владимира Дмитриевича – его воспоминаний, а также любопытнейших по содержанию писем, составляющих эпистолярную коллекцию данного архива.

Оригинал рукописи воспоминаний – это 1602 страницы (без учёта разнообразных вставок, иногда весьма обширных, иконографических и документальных приложений) довольно легко читаемого рукописного текста, составляющего в совокупности десять пронумерованных автором общих тетрадей разного формата и объёма. Первая из них, имеющая самостоятельную нумерацию (156 страниц), особенно выде-

ляется: кожаный переплёт, золотой обрез и датированная 1938 годом дарственная надпись на титульном листе, принадлежащая двоюродному брату Владимира Дмитриевича Н. Е. Машковцеву: «Дарю эту тетрадь моему дорогому брату Владимиру Дмитриевичу Зёрнову в уверенности, что он найдёт, чем заполнить её чистые страницы»^[49].

Другой немаловажной археографической особенностью рукописи является её оформление. Для иллюстрации отдельных сюжетов мемуарист вносил в рукопись помимо собственноручных записей (пояснительных пометок, обширных вставок) ещё и дополнительный материал, как-то: фотографии, видовые открытки, подлинники некоторых писем и телеграмм, вырезки из старых и новых газет. Всё это значительно обогатило рукопись публикуемых воспоминаний.

После расшифровки записей и подготовки рукописи к печати воспоминания, получившие название «Записки русского интеллигента», в сокращенном варианте были впервые опубликованы в саратовском журнале «Волга» за 1993 и 1994 годы^[50].

Обращаясь к той или иной мемуарной литературе, задумываясь о её предназначении и ценности, первым делом на ум приходит мудрое изречение А. И. Герцена, высказанное им в предисловии к английскому изданию второй части «Былого и Дум». «Для того чтобы написать свои воспоминания, — замечал он, — вовсе не нужно быть великим человеком или выдавшим виды авантюристом, прославленным ху-

дожником или государственным деятелем. Вполне достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать.

Жизнь обыкновенного человека тоже может вызвать интерес, если и не по отношению к личности, то по отношению к стране и эпохе, в которую эта личность жила»^[51].

Свои воспоминания В. Д. Зёрнов начал писать, не предназначая их изначально к публикации, в 1944 году – за два года до смерти. Создавались они с одной единственной целью: сохранить генеалогическую память, уберечь последующие поколения семьи Зёровых от незнания собственной родословной. В своеобразном предисловии к мемуарам, обращённом к внуку Алексею Валерьяновичу Талиеву сам автор так характеризует мотивы, побудившие его взяться за перо: «Милый мой внучек Алёшенька! Тебе будет интересно, когда ты вырастешь большой, узнать, как жил твой дедушка, с которым ты провёл неразлучно первые годы своей жизни. Мне хочется, чтобы ты знал, кем были и твои прадедушка с прабабушкой, другие твои родственники.[...] Мне хочется рассказать тебе о том, как я провёл студенческие годы и начало самостоятельной жизни, как встретился с твоей бабушкой, как стал профессором Саратовского университета. Словом, мне хочется вспомнить всю свою жизнь. [...] Думаю, всё это тебе будет интересно»^[52].

Публикуемые воспоминания отличает от подобного рода сочинений прежде всего то, что, написанные в форме

небольших сюжетных, но психологически точных зарисовок, они почти лишены какой бы то ни было политизации и идеологизации. Важно и ценно, что автор не стремился ни к огульному охаиванию, ни к безудержному восхвалению действительности, не брался обличать или оправдывать пороки того или иного государственно-политического устройства. Он просто показывает жизнь такой, какой она представляла перед его глазами, со всеми её плюсами и минусами.

Написанные хорошим литературным языком, воспоминания В. Д. Зёрнова ярко и лаконично живописуют атмосферу жизни российской (столичной и провинциальной), немецкой, швейцарской, французской, английской учёной среды. В них даются портреты выдающихся современников и знакомых В. Д. Зёрнову лично (достаточно назвать Пьера и Марию Кюри, В. Томсона, Э. Резерфорда, И. Мечникова, А. Иоффе, Ф. Шаляпина, композиторов А. Аренского и С. Танеева; государственных деятелей – П. Столыпина, Н. Семашко, А. Луначарского и многих других). Автор не кичится знакомством с ними, не преувеличивает близости отношений к ним, но подмечает в них то, что не увидели другие. Любопытны эпизоды студенческой жизни тех лет, с характеристикой профессоров Московского университета (Н. В. Бугаева, В. Я. Цингера, Б. К. Млодзеевского, А. Н. Реформатского, Н. А. Умова, П. Н. Лебедева, князя С. Н. Трубецкого, протоиерея Н. А. Елеонского), распорядка учебных занятий, увлечений и культурного досуга учащейся молодёжи (участие в

студенческом симфоническом оркестре и оркестре Общества любителей оркестровой, вокальной и камерной музыки, археологической экспедиции в составе студенческого историко-филологического общества под руководством князя С. Н. Трубецкого и т. п.).

Множество наблюдений за нравами и бытом современников складываются в яркую привлекательную картину, создающую впечатление духовно уравновешенного бытия близкой автору среды, где ценились ум, честность, талант, доброта. Читатель, заинтересованный этим во многом утраченным нами миром, получит редкую возможность довольно долго следить за разворачиванием нетривиального рассказа о судьбе видного русского интеллигента^[53].

Необходимо учитывать, однако, что воспоминания В. Д. Зёрнова создавались по прошествии значительного времени после описываемых событий. Не исключено, что при этом Владимир Дмитриевич пользовался не только тайниками своей памяти, но и разнообразными материалами семейного архива, в частности, сохранившейся за многие годы личной и деловой перепиской. Во всяком случае, готовя рукопись воспоминаний к публикации и сверяя содержащиеся в ней фактические данные с другими имеющимися доступными источниками, невольно ловишь себя на мысли, как точно и полно воспроизводит автор многочисленные имена, факты и события, причём многолетней давности. Но, справедливости ради, следует отметить, что отдель-

ные неточности и огрехи (иногда весьма существенные), характерные для мемуарного жанра в целом, в публикуемых воспоминаниях всё же встречаются. Необходимые в таких случаях пояснения приводятся в специальном комментарии, помещённом в конце авторского повествования.

Рассматриваемый источник охватывает период с конца 70-х годов XIX века до начала Великой Отечественной войны включительно. Каждая из десяти частей (тетрадей) представленных воспоминаний имеет собственные, строго очерченные хронологические рамки. При этом важно знать, что датировка первых четырёх тетрадей (начиная со второй и заканчивая пятой) дана самим автором, а все последующие – публикатором. Как указывалось выше, смерть помешала В. Д. Зёрнову полностью завершить работу над воспоминаниями. Так, не отражённым в рукописи осталось множество проблем, связанных с трудностями и невзгодами военного лихолетья, фактической основой для чего вполне мог бы стать путевой журнал, который Владимир Дмитриевич вёл в период эвакуации в Новосибирск. Кроме этого, внезапная смерть не позволила мемуаристу полностью завершить и ряд необходимых в подобных случаях авторских операций: тщательно скомпоновать и отредактировать текст рукописи, исключив из него многочисленные повторы фактического порядка, а главное – озаглавить его в целом. Настоящее название – «Записки русского интеллигента» – было предложено уже публикатором и возникло оно при первом же внима-

тельном прочтении рукописи этих воспоминаний в процессе работы над их журнальной публикацией.

Не успел В. Д. Зёрнов осуществить и своё намерение разделить общий текст на отдельные главки с присвоением им самостоятельных названий. В авторском оригинале потенциальные главы, хотя и выделены своеобразным образом, в большинстве случаев так и остались безымянными. Лишь незначительная их часть (начиная с шестой тетради и далее до конца) были озаглавлены непосредственно самим автором. В настоящем издании авторские варианты названий глав выделены звёздочками, а те из них, что в силу разных причин подверглись редакторскому вмешательству, полностью даются только в соответствующих разделах комментариев.

При подготовке воспоминаний В. Д. Зёрнова к печати была проведена их тщательная дополнительная текстовая сверка с рукописным оригиналом, учтены и зафиксированы все встречающиеся в нём авторские ремарки, равно как и уточняющие замечания, сделанные рукой его жены Е. В. Зёрновой. Окончательный издательский текст содержит ряд исправлений в вопросах орфографии и пунктуации (в большинстве случаев они приведены к современным нормам). В отдельных случаях был изменён порядок глав и абзацев, поскольку мемуарист не всегда был последователен в своих записях.

В отличие от первой журнальной публикации, настоящее

издание содержит разнообразный научно-справочный аппарат, состоящий из содержательно и информативно насыщенных комментариев.

Настоящее издание завершает аннотированный именной указатель, в котором даются сведения, отражающие связь упоминаемых лиц как непосредственно с жизнью и деятельностью мемуариста, так и с тем историческим временем и событиями, свидетелем или участником которых он являлся. Исключение составили лишь персоналии, указываемые в библиографических описаниях.

Приведённые в настоящем издании тексты воспоминаний, писем и других источников из личного архива учёного, печатаются по оригиналам, хранящимся в Коллекции документов по истории Саратовского университета В. А. Соломонова (Саратов). Встречающиеся сокращения раскрываются в квадратных скобках. Аналогичным образом отмечены и отдельные купюры, которые по воле М. В. Зёрновой не вошли в окончательно подготовленный для сдачи в издательство текст. В основном – это сведения личного характера, касающиеся исключительно членов семьи Зёрных.

В заключение хочется воспользоваться случаем высказать пусть и запоздалую, но искреннюю благодарность дочери учёного Марии Владимировне Зёрновой, сохранившей уникальный семейный архив и его главную ценность – рукопись воспоминаний отца. Не могу не выразить признательность и всем тем, кто на протяжении более десяти лет принимал жи-

вое и действенное участие в подготовке и осуществлении настоящей публикации: лауреату Нобелевской премии академику РАН В. Л. Гинзбургу, депутату Государственной Думы РФ, доктору политических наук А. Г. Чернышову, учёному секретарю Санкт-Петербургского института истории РАН, кандидату исторических наук Б. Б. Дубенцову, профессорам и доцентам Саратовского университета: доктору исторических наук И. В. Пороху, доктору филологических наук И. Н. Горелову, кандидату исторических наук В. Г. Миرونору и доценту Е. К. Максимову, заведующей отделом редких книг и рукописей Зональной научной библиотеки им. В. А. Артисевич СГУ Н. А. Попковой, а также бывшим сотрудникам редакции литературно-художественного журнала «Волга» – С. Г. Боровикову и В. Н. Панову.

Записки русского интеллигента

Вместо предисловия^[54]

Милый мой внучек Алёшенька! Тебе будет интересно, когда ты вырастешь большой, узнать, как рос и жил твой дедушка, с которым ты провёл неразлучно первые годы своей жизни. Мне хочется, чтобы ты знал, кем были и твои прадедушка с прабабушкой, другие твои родственники.

Когда я начал вспоминать своё детство и отрочество, то захотелось записать многие подробности, которые, может быть, и лишние и интересны только мне самому. Возможно, я и в самом деле написал много лишнего, но мне трудно было выбирать, что стоит писать, а что не стоит. В первой тетради я записал только свои детские и отроческие годы. В следующей – год за годом продолжил вспоминать свою юность. Мне хочется рассказать тебе о том, как я провёл студенческие годы и о начале самостоятельной жизни: как встретился с твоей бабушкой, как стал профессором Саратовского университета. Словом, мне хочется вспомнить всю свою жизнь. Я пережил тяжёлые годы войн и революций, встречал много интересных людей и у нас на родине, и за границей. Думаю, всё это тебе будет интересно. Ведь ты любишь своего дедушку.

Крепко тебя целую, твой дедушка

Вл. Зёрнов.

Москва

2 ноября 1944 года.

Часть первая (1878–1897)

Немного о семье

Родился я 1 мая (по старому стилю) 1878 года в Москве в семье потомственных дворян Зёрновых. Мой отец, Дмитрий Николаевич, сын профессора математики Московского университета, был также известным учёным^[55]. Все врачи нашего времени считали его своим учителем. Они или непосредственно учились у него в Московском университете, где он, будучи профессором, с 1869 года до своей кончины в 1917-м читал лекции по анатомии, или занимались по его знаменитому руководству «Анатомия Зёрнова», выдержавшему немало переизданий^[56].

Моя мама, Мария Егоровна, урождённая Машковцева, из города Вятки. Её знакомство с моим отцом произошло совершенно случайно. Проживая одно время в деревне Мазилово, она, купаясь в тамошнем пруду, стала тонуть. Её удалось быстро вытащить из воды и откачать, но после всего случившегося она сильно захворала. Врачей в Мазилове не нашлось, и к больной пригласили «молодого профессора», жившего на даче в соседней деревне. Им оказался Д. Н. Зёрнов. Памятуя «факультетское обещание», запрещавшее врачу отказывать во врачебной помощи, он стал лечить случайную пациентку, хотя практикой вообще не занимался^[57]. Когда же больная поправилась, он сделал ей предложение вый-

ти за него замуж. Они обвенчались 8 ноября 1870 года в Москве и прожили вместе более сорока лет.

У родителей было пятеро детей: дочь и четыре сына – Вячеслав, Дмитрий, я и младший Алексей. Старшей была дочь Наталья. Из детей в живых остались только я и Наташа. Слава умер до моего рождения в 1877 году от воспаления мозга, в 1886 году пяти лет от роду умер от скарлатины Алёша, а спустя три года в возрасте тринадцати лет, уже гимназистом, от воспаления мозга скончался Митя.

Отчётливо помню, как тяжело переживали родители смерть своих детей. Возможно, это общее горе ещё больше, чем радости, сближало их. Всё внимание и любовь они сосредоточили теперь на мне, единственном оставшемся сыне, что, конечно, отразилось и на моём характере, и на моём отношении к моей семье и к моему делу.

За несколько дней до моего рождения папа купил в Серпуховском уезде, в 10 верстах от станции Лопасня Курской железной дороги, усадьбу с красивым названием – Дубна. Дом был просторный, двухэтажный, но его сейчас же пришлось чинить, так как крыша была тесовая и в дождь текла, как решето. Дом отремонтировали и покрыли железом.

В Москве родители жили со своей свадьбы в казённой квартире на Никитской улице, в доме, на месте которого теперь помещается университетский зоологический музей^[58]. В этой квартире, в которой мы прожили до 1898 года, я и родился. Крестили меня в Москве, но уже четырёх недель от

роду перевезли в Дубну.

Это была дача, но довольно большая – 10 десятин. При доме имелся тенистый липовый парк, там росло несколько громадных старых елей, по-видимому, остатки более старого парка, посаженного в тридцатых годах XIX столетия. Наша соседка А. М. Шнейдер помнила его ещё совсем молодым, постриженным по тогдашней моде в сороковых годах. Рядом с домом находилось два пруда – один выше другого. Нижний был сравнительно большим и чистым – в нём мы всегда и купались. За ним тянулась аллея из больших ёлок, откуда открывался вид на дом и парк, – это место у нас называлось «point»^[59]. За малым прудом стояли кое-какие хозяйственные постройки: скотная изба со скотным двором, конюшня, сарай. В огороде, вначале совершенно запущенном, росло несколько задичавших яблонь.

О том, как отмечались мои именины

По рассказам старших, в первое моё лето в Дубне дождей было много, в верхнем этаже бегали и подставляли вёдра и корыта – протекало во многих местах. Мама неожиданно для себя вспомнила, что 15 июля – день Святого Владимира, мои именины; она тут же велела сварить шоколад и предложила пить его на «point». Все удивились – что за фантазия? Но мама, смеясь, отвечала, что она таким образом желает отпраздновать день именин.

Впоследствии в этот день вдоль большой аллеи парка в 50

саженной длиной, которая шла прямо от дома, мы устраивали иллюминацию. По обе стороны аллеи развешивалось около сотни разноцветных бумажных фонариков, а посередине аллеи, на площадке, окружённой елями, папа устраивал люстру – на венке из дубовых веток закреплялись цилиндрические бумажные фонарики и большой китайский фонарь внутри самого венка. Это красочное сооружение на верёвке, перекинутой через еловые ветви, поднималось над площадкой. Мне до сих пор, хотя я видел роскошные иллюминации, например, при коронации в Москве^[60] или на Всемирной выставке в Париже – Версале в 1900 году, наша иллюминация представляется самой красивой – два ряда пёстрых фонариков казались уходящим далеко-далеко освещённым коридором и над ним красивая люстра!

С вечера накануне уже начиналось приготовление. Перед вечером 14 июля надо было идти в церковь к «батюшке» – местному священнику – и заказывать обедню. Обряд этот являлся чистой формальностью. Батюшка и сам прекрасно знал, что в этот день непременно служится обедня.

Рано утром 15-го в доме пахло сдобным печеньем – мои именины всегда отмечались печением громадного сдобного кренделя. Пахло и дубовыми листьями – родители плели большой дубовый венок, который раскладывался на столе, покрытом белой скатертью; в середине венка красовался крендель и другие подарки. Характер подарков соответственно возрасту изменялся. Однажды около кренделя среди дру-

гих подарков я нашёл настоящий отличный топор. Необычный подарок привёл меня в особенный восторг, и я непременно хотел разрубить им праздничный крендель. Но кто-то из старших сказал мне, что если так сделаю, то и топор, и крендель на меня будут в обиде: крендель за то, что его рубили топором, а топор – что им рубили крендель. Это шуточное замечание запомнилось мне на всю жизнь и, несомненно, имело какое-то символическое значение. Средства всегда должны соответствовать действиям и ожидаемым результатам.

Кроме нашей семьи, прихожан в церкви в этот день не бывало, и это производило впечатление исключительности события. После обедни и молебна священник выносил крест, и мы к нему прикладывались. Тогда же родители приглашали батюшку и матушку «кушать чай». И вскоре после обедни, по-праздничному одетые, они приходили к нам. На столе кипел пузатый самовар, для батюшки, большого любителя выпить, стояли водка и закуска. Матушка тоже от рюмочки не отказывалась, что меня крайне удивляло. Ведь у нас и папа-то пил только лёгкое виноградное вино, а водку подавали лишь косцам после работы да гостям в обед. И «дамы» тогда водки не пили.

Днём мы снаряжали фонарики – для этого десятиериковые свечи (10 штук за фунт) резали пополам, проверяли на липках гвоздики для фонариков, а папа из венка, лежавшего утром на именинном столе, соорудил люстру.

Позднее, когда я уже не был ребёнком, у нас установился обычай в день моих именин угощать деревенских детей. В Лопасне у Прокина закупались различные гостинцы – леденцы, орехи, пряники, баранки. Ребята же с утра маячили недалеко от дома. И когда выносился стол и на нём выгружались соблазнительные гостинцы, то около него сразу собиралась изрядная толпа ребятишек; подростки приносили на руках чуть ли не грудных детей, и все оделялись поровну. Распределяла гостинцы жившая у нас всю жизнь Настя или, как называли её мы, дети, «Кусенька»^[61]. Конечно, присутствовали и мы с мамой.

Вечером на иллюминацию приходила молодёжь повзрослее и, прячась сначала в темноте парка, осмелев, собиралась под люстрой. Водили хоровод, танцевали «мятелицу» и пели величание.

Когда я был гимназистом и студентом, к 15 июля съезжались мои товарищи: Рахмановы, Померанцевы – и у нас было шумно и весело.

Наше дубненское хозяйство

Папа любил хозяйничать^[62], и на нашем участке было организовано семипольное хозяйство на 3 $\frac{1}{2}$ десятинах, держали 5 коров, до 6 лошадей. Лошадей я помню особенно. Первым был куплен Рыжий – он считался Наташиным, она на нём ездила верхом, конечно, на дамском седле. Вторым был Кролик – на нём верхом ездил папа. Мы, мальчики, из-

за малого возраста верхом ещё не ездили. Старшему брату Мите его крёстная Марья Карловна подарила осла, которого она купила в Зоологическом саду за 25 рублей, – на нём мы и катались верхом. Звали его Малышка – это был довольно большой и упрямый осёл.

Покупку третьей лошади – Атамана помню очень хорошо, так как на ярмарку в Серпухов папа взял Митю и меня. До Серпухова было 25 вёрст. Отправились мы накануне девятой пятницы (девятая пятница после Пасхи) и ночевали в гостинице, а рано утром пошли на ярмарку и подобрали подходящую по росту и масти лошадь.

Заплатили за неё, если не ошибаюсь, 70 рублей. Ярмарка была не очень богатая, но всё же характерная годовая ярмарка уездного города. Продавался скот, продавались колёса, телеги, был и ряд красных товаров, а также палатки с гостинцами. Было много цыган с лошадьми, но мы их старались избегать, и лошадь купили у русского крестьянина.

Атаман стал общей моей с братом Митей лошадью. Ходил он и в пристяжке, но на тройке мы никогда не ездили. Почему-то папа не любил упряжку тройкой, так что мы всегда ездили на паре с пристяжкой (с отлётом), если закладывали тарантас, а если была лёгкая клетушка, то закладывали одну лошадь.

Когда мне исполнилось лет десять, мамин брат Егор Егорович прислал в Москву из Вятки тройку вятков. Я хворал воспалением лёгкого и не вставал с постели, но для такого

случая меня на руках поднесли к окну, и на дворе я увидел тройку жёлтеньких лошадок с чёрными гривками и чёрными хвостами и такими же чёрными ремешками вдоль спины – это были коренник Кондуктор, левая пристяжная Керемет и правая пристяжка Красавчик. Лошадей привёл кучер дяди Егора – Василий, который всем нам очень понравился, и Кондуктор в честь него был переименован в Ваську.

Красавчика тут же в Москве продали за 100 рублей, так как опять папа не хотел ездить на тройке, а Васька с Кереметом некоторое время оставались в Москве. Купили шарабан и запрягали поодиночке молодых лошадок. Они были довольно бойкие и не очень послушные. Наш родственник Н. Н. Эсаулов, уверяя, что хорошо может ездить на любой лошади, решил как-то доказать нам своё умение: запряг Керемета, ходившего раньше только в пристяжке, и поехал. Но Керемет, видимо, испугавшись городского шума и грома колес по мостовой, подхватил по Газетному переулку и на Никитской въехал в булочную. Вскоре после этого происшествия пару вятков отправили в Дубну, и они служили там очень долго.

Потом появились другие – Гнедок, Бурчик... Про одну хочется рассказать особо. Я был уже гимназистом, должно быть, VII класса, когда папа купил мне верховую лошадь, принадлежавшую некогда офицеру Сумского полка. Это была очаровательная тёмно-коричневая лошадка. По аттестату её звали Конфетка, но маме это имя не нравилось, и она

назвала её Диной. В Москве Дина стояла в манеже Лемана около Большой Бронной, и я ездил в манеже, где меня и Дину дрессировал старик берейтор^[63], которому, напротив, не нравилось имя Дина, и он говорил: «Какая ж она Дыня? Настоящая Конфетка». На Дине я ездил и по улицам Москвы, иногда и за город. На улицах она нередко капризничала. Например, ни за что не хотела идти по асфальту, вероятно, принимая его за лёд и боясь поскользнуться. Как-то я всё-таки решил настоять на том, чтобы она пошла по асфальту, которым был покрыт Пречистенский бульвар. Я думал, она не заметит асфальта, если я поеду скоро; я поднял её в короткий галоп, но как только она доскакала до края асфальта, резко остановилась, а я вылетел из седла, но я был уже хорошо выдрессирован и встал прямо на ноги. Пришлось признать себя побеждённым и объехать асфальтированное место кругом переулками.

Лопасненский район славился белыми грибами, и, действительно, в парке нашем и в ближайших лесах грибов бывало много. Ходить по грибы для нас было любимым развлечением. Их мы всегда набирали множество, они постоянно появлялись за столом в самых разнообразных видах: их сушили, отваривали и мариновали в запас на всю зиму. Настя (Кусенька) была большой мастерицей готовить маринованные грибы. Они у неё непременно выходили и очень вкусными, и красивыми. Устраивали мы и пикники. Закладывали линейку, забирали самовар и еду и отправлялись ку-

да-нибудь в лес, где была вода; там ставили самовар и, расстеливши на земле скатерть, пили чай и закусывали. Излюбленным местом для таких пикников был Беляевский овраг – он и находился недалеко, и красотой отличался завидной. Один из пикников, кончившийся не совсем обычно, опишу подробнее.

Верстах в 6–7 от Дубны в сторону к Наре был дубовый лес – Фролова роща. Родители сговорились с ермоловскими помещиками Шнейдерами, семьёй профессора Шереметевского из Кулакова, Расцветовыми из Пешкова, кажется, были и Мантейфели из Вихрова, и все съехались к лесной сторожке во Фролову рощу. Место чудесное – столетние дубы, прекрасная ключевая вода. Я и сестра ехали верхом, остальные на линейке. Весело гуляли, пили чай и не заметили, как стало вечереть и надвинулась грозовая туча. Все заспешили засветло добраться домой. Пока мы закладывали и седлали лошадей, туча успела заволочить почти всё небо, а когда выехали из рощи, начался дождь, засверкала молния и загредел гром. Мама настояла заехать в ближайшую деревню и переждать. Так и сделали. Но время шло, а дождь не прекращался. Между тем совсем стемнело. Решили, несмотря на дождь (гроза уже прошла), всё же отправиться домой. Шагом по просёлочной дороге, под дождём, в полной темноте мы выбрались из деревни, и вскоре выяснилось, что потеряли дорогу. Наугад двигались дальше. Дождь окончательно промочил гимназическое пальто, которое было на мне, и вода

струилась уже внутри по рукавам.

Мы отпустили поводья, предоставив лошадям идти по собственному усмотрению. Они шли, шли и, наконец, остановились. Оказалось – перед нами канава. Кучер слез, кое-как перетащил через канаву лошадей с линейкой, а все ехавшие перебрались пешком. Я тоже перевёл своего Керемета в поводу. Стали осматриваться и не так далеко заметили огонёк. Отправились на него и всё ещё под дождём добрались до небольшой усадьбы в Горелом Болоте – верстах в 3–4 от Дубны. Мы промокли до костей и решили постучаться в дом – попросить приюта. Нас встретили весьма радушно. Мы остановились в доме полицейского, семья которого совсем недавно купила здесь небольшое имение, – может быть, поэтому мы их и не знали. Хотя было уже поздно, хозяева поставили самовар, дали нам кое-какое сухое платье, и мы просидели у них до поздней ночи. Наконец дождь перестал, тучи разорвались, взошла луна, и мы выехали и благополучно добрались под утро домой.

Ездили мы гулять и на мельницу «Бутырки» на Наре, и на Иванову Гору, и в Хлевино, где когда-то на берегу Лопасни возвышался большой дворец графов Головкиных^[64] и имелась целая система каналов и прудов. Говорят, всё это было сделано владельцами для приёма Петра I. Но был ли там Пётр, неизвестно. Дворец впоследствии был разрушен, пруды спущены. Из камня, как рассказывают, были построены церкви в Хлевине и Дубне. При нас ещё выкапывали камень

фундаментов, а некоторые украшения бывшего величия лежали у нас на усадьбе. До сих пор цела каменная львиная голова, которая лежала на крайней дорожке в парке (по ней аллея называлась Львиной). Сохранились и следы хлевинских прудов и каналов, Курган, на котором мы и располагались с пикниками и с которого мы, дети, катались кубарем.

Лошадям и коровам на зиму сена с усадьбы не хватало и для покоса нанимали луг под Ауловом, километрах в двух от усадьбы, и десятины под Мокрым лесом – за нашим парком. Крестьяне охотно подённо убирали покос – для них это был заработок. Они очень любили брать вперёд под работу, так что недостатка в косцах или бабах, которые сушили и убирали готовое сено, никогда не было. Мы особенно любили забираться на сено в сарае, а когда его убирали, ездить на возах.

Косцы, возвращаясь с покоса перед полуднем и вечером, подходили к балкону, и мама или папа наливали им по стаканчику водки, а закусывали они густо посоленным чёрным хлебом. Непьющие получали на пятак в полдня больше пьющих. Бабы и девушки, когда шли с покоса, орали песни, и им по вечерам устраивали чай с сахаром и хлебом. И хотя угощение было скромное, после жаркого дня все очень интересовались чаепитием на нашем дворе. Для этого случая около дома под липами стоял постоянный стол, за которым и наша, тогда многочисленная прислуга любила обедать и пить чай.

Хозяйство было, собственно, потешное, и, вероятно, если посчитать всё, что с него получалось, убыточное (то же самое дешевле было купить на рынке, на котором имелось всего много и всё было дёшево), но все интересовались и молоком от своих коров, и маслом, которого собиралось много — кладовая была полна горшками с чудесным топлёным маслом, и я, будто сейчас, помню, как приходила утром кухарка и железной ложкой выгребала из горшка масло в таком количестве, которое теперь показалось бы просто преступным.

Осенью привозили в Москву овощи на всю зиму и приво­дили дойную корову. Много заготавливалось варенья самых разных сортов. Несмотря на то, что никто себе ни в чём не отказывал и к чаю непременно подавалось два сорта варенья, не было года, чтобы до новых ягод все запасы были съедены. А какую телятину присылали из Дубны! Я потом такой во всю жизнь не едал и не видывал.

Каких-нибудь особых красот в Дубне не было, да и в нашей жизни ничего особенного не происходило, но летние месяцы, проведённые тогда в Дубне, теперь представляются мне «золотым детством».

Рождественские праздники и первые шаги в музыкальный мир

Из детских лет вспоминается мне также, как праздновалось у нас Рождество, или, как говорили мы, дети, ёлка.

До вечера сочельника^[65] видеть ёлку нам не полагалось.

Родители сами покупали большое дерево, устанавливали его посреди залы и сами же украшали, а нас в залу уже не допускали. Часов в восемь вечера в сочельник старшие приходили из церкви, мы же ожидали их в соседней с залой столовой, причём света в ней не зажигали. И когда приготовления заканчивались, двери из столовой в залу отворялись и перед нами представляла вся в огнях красавица ёлка.

Главным её украшением служили множество белых восковых свечей и искрящийся в живом свете золотой дождь. На самой вершине красовалась традиционная звезда. Остальное украшение составляли почти исключительно гостинцы: яблоки, мандарины, пряники, золочёные орехи, гирлянды из леденцов; под ёлкой непременно лежали подарки.

Никаких гостей в сочельник не было – это был семейный праздник. Позднее – на второй, на третий день – приглашались знакомые, в основном мои приятели, которые тоже получали гостинцы и разные рождественские подарки. Но мы, дети, ценили главным образом ёлку в сочельник; её появление после мрака тёмной столовой в полном наряде, запах свежего хвойного дерева, горящих восковых свечей – всё производило поистине волшебное впечатление.

Однажды, мне было лет 8–9, на Рождество, конечно, не в сочельник, мы с братом Митей и наши маленькие друзья исполняли под ёлкой знаменитую *Kinder-Sinfonie* Гайдна, написанную им для детского исполнения. В состав нашего оркестра входили: фортепиано, две скрипки и игрушеч-

ные инструменты – кукушки, соловей, перепел, детская труба, маленький барабан и что-то ещё. Набор этих инструментов продавался у Циммермана^[66]. Всё это предприятие затеял отец моих друзей Рахмановых^[67], он и хлопотал по доставанию инструментов и организации концерта. По свидетельству старших, игра нам удалась. Я исполнял скрипичную партию.

Мне было 7 лет, когда мы с братом Митей начали брать уроки на скрипке. Ещё раньше мы оба брали уроки на фортепиано, и Митя уже играл довольно порядочно. Этому способствовало и то, что наша мама очень хорошо играла на рояле – она являлась ученицей Дюбюка, так что с раннего детства я слушал сонаты Бетховена. Мама любила играть вечером, а спать нас укладывала тётя Катерина Егоровна^[68], и мы засыпали под звуки чудесной мелодии, доносившейся в детскую из зала, где стоял рояль Штюрсвале, доживший в Дубне до войны 1941 года и исковерканный ребятами во время нашей эвакуации в Новосибирск^[69].

С осени 1885 года мы, дети, ходили к Рахмановым, жившим в одном с нами доме, когда у них играли квартет. В. А. Рахманов был неплохим виолончелистом. Нам очень нравилось слушать скрипку. Первую скрипку в квартете у Рахманова играл доктор Н. В. Даль, впоследствии известный московский гипнолог.

Мы попросили родителей, чтобы на ёлку нам подарили настоящую скрипку, и в сочельник действительно обнаружи-

ли под ёлкой желаемый подарок – скрипку со смычком. Это был инструмент в $\frac{1}{4}$ обычной величины.

Вскоре с мамой и В. А. Рахмановым мы отправились к К. А. Кларроту. Карл Антонович согласился обучать нас обоих, назначил уроки два раза в неделю и плату за двоих 20 рублей в месяц. И взглянув на меня напоследок, произнёс:

– Ach dieses ist zu Klein!^[70]

Ощупав затем мой большой крахмальный отложной воротник, надевавшийся лишь в торжественных случаях, добавил, что в таком воротнике играть на скрипке нельзя. С тех пор я расстался с моим торжественным облачением.

Уроки пошли удачно. С нами на урок ходила тётя Катерина Егоровна, она также следила за нашими занятиями дома. Начали мы заниматься по школе Берио и вскоре уже играли мелодии из этой школы. Для Мити у самого Кларрота купили скрипку немного побольше, чем у меня. Помнится, заплатили за неё 9 рублей.

Вторую мелодию Берио Карл Антонович велел мне выучить уже наизусть. На следующем уроке я принялся исполнять её без нот, но посередине забыл, остановился и пустился в рёв. Кларрот не рассердился, однако далее, до моих студенческих лет, не заставлял меня учить наизусть ни одно произведение. Эта поблажка привела к тому, что я так и не научился учить наизусть музыкальные произведения и впоследствии готовиться к публичному выступлению мне было весьма затруднительно. И чтобы быть вполне уверенным,

я добивался полного автоматизма. Например, первую часть концерта Мендельсона для исполнения со студенческим оркестром я вызубрил так, что клал на пюпитр книгу, читал её, а сам автоматически играл концерт.

Смерть брата Алёши. Поездка в Крым

Захворала скарлатиной дочь няньки Елены – Маша, её отвезли в больницу, а платье из больницы Елена привезла обратно в нашу квартиру. Через несколько дней заболел мой младший брат Алёша. Меня с Митей отделили и поселили в другой квартире на том же университетском дворе. Каждый день к окну нашей комнаты подходил папа навестить нас и сообщить, что делается дома. И вот однажды утром он сказал, что Алёша умер. Я кинулся на пол и горько заплакал.

Мама сильно тосковала, и, чтобы хоть немного отвлечь её от грустных мыслей, папа решил всей семьёй поехать в Крым. Несмотря на то, что это было 58 лет назад, многие картины из этого моего первого большого путешествия стоят передо мной как живые.

Мы отправились следующим составом: папа, мама, тётя Катерина Егоровна, Наташа, Митя, я и подруга Наташи – Клавдия Сергеевна Сергеева, которая воспитывалась в нашей семье и из нашего дома потом вышла замуж. Садились мы в поезд со станции Лопасня. Папа заранее ездил в Москву, взял билеты и, хотя скорый поезд вообще на Лопасне не останавливался, по просьбе отца его остановили и мы забра-

лись в вагон второго класса. Тогда прямых поездов от Москвы до Севастополя не было. До Курска дорога была казённая, по ней спальные вагоны не ходили, скамеечки в вагоне второго класса были мягкие, но короткие, как в дачном вагоне. Ночь мы провели в этом вагоне, а дальше шла дорога Курско-Харьковская, принадлежавшая частной компании, так что мы должны были пересаживаться. Тут я первый раз увидел вагоны с длинными спальными местами. Дальше – опять дорога, но только другого общества – Лозово-Севастопольская, однако вагона мы, кажется, уже не меняли.

Перед самым Севастополем поезд нырял в туннели – их там пять или семь, и, наконец, когда мы из полной темноты вынырнули на свет, перед глазами расстилалась синяя бухта и виднелись красавцы военные корабли: два броненосца, которые по фамилии инженера, их строившего, назывались «поповками»^[71], крейсер «Память Меркурия» и только что спущенный на воду броненосец «Чесма», ещё не вполне законченный. Картина синей бухты с кораблями и сейчас стоит перед глазами. Подробности о военных кораблях мы узнали позднее.

В Севастополе тогда работал по постановке машин на новых броненосцах мамин двоюродный брат Вадим Павлович Аршаулов^[72]. Он-то и возил нас на «Чесму», были мы и на постройке броненосца «Синоп», который стоял в лесах на берегу. Вадим Павлович выхлопотал для нас разрешение осмотреть крейсер «Память Меркурия». Мы на лодке подь-

ехали к его трапу, и офицер показывал нам помещения и вооружение крейсера.

Остановились мы в гостинице Ветцеля. Из неё я особенно запомнил веранду, на которой мы обедали и по краю которой в кадках были расставлены большие цветущие розовые азалии. Приехали мы в Севастополь в конце старого августа. У папы были свежи воспоминания об обороне Севастополя 1855 года, и имена Нахимова, Корнилова и других героев нам были хорошо знакомы. Помню, какое почтение вызывал маленький белый Георгиевский крестик, вырезанный из кости черепа Нахимова, вынутой после ранения при операции, – крестик этот хранился в Морском музее. Не знаю, уцелела ли эта реликвия теперь, за войну 1941 года?^[73]

Каждый день мы ездили на какие-нибудь места, связанные с обороной Севастополя. Были в Херсонесе, на Мамаевом кургане, на Братском кладбище, на Четвёртом бастионе на Инкерманских высотах. Так как эти места расположены на берегу моря и бухты, то мы каждый день ездили на лодке. Лодка называлась «Луч», а лодочника звали Николай. Лодочники стояли у Графской пристани, откуда мы и отплывали, или, как говорят моряки, отваливали. Лодка была довольно большая, и мы все семеро свободно в ней размещались. Если бил ветерок, ставили парус. И вот ехали мы как-то, кажется, в Херсонес, был порядочный ветер, и мы, дети, пристали к старшим с просьбой поставить парус. Конец паруса сидевший на руле папа обычно держал за верёвку в ру-

ке, отпуская его немного, когда ветер усиливался. А тут лодочник говорит: что вам беспокоиться, закрепите конец за борт лодки. Папа так и сделал. Вдруг налетел шквал, лодка сильно качнулась и даже зачерпнула бортом воду, но, по счастью, верёвка оказалась недостаточно прочной – она оборвалась, лодка встала, а парус заметался на ветру. Я взглянул на папу – он был бледный, как полотно. Всё произошло так быстро, что мы не сразу осознали, какой опасности подвергались. Убрав парус, мы продолжали путь на вёслах.

Всё, что мы видели в Севастополе, было так ново и необычно, что пребывание здесь запомнилось на всю жизнь.

Из Севастополя мы отправились в Ялту. Погода стояла чудесная, и родители решили ехать на пароходе. Пароход оказался старинным, с большими гребными колёсами. По-видимому, это был последний морской колёсный пароход, все другие были уже винтовыми. Назывался он «Адмирал Коцебу». Нам он казался весьма роскошным. Море было спокойное. Мы оставались на палубе и любовались берегами и морем. На палубе расставили столы, и все пассажиры обедали на воздухе. К вечеру мы подошли к Ялте. Было уже довольно темно, город – весь в огоньках. Мола в Ялте ещё не построили, и пароход бросил якорь на рейде, а пассажиры добирались до маленькой деревянной пристани на лодках.

Остановились мы в гостинице «Эдинбург» – в старом городе высоко над теперешним молотом. Отсюда ездили в Гурзуф и Алупку – в плетёной коляске с большим зонтиком и

задним местечком. Все семеро запросто помещались в коляске.

В Ялте мы оставались недолго. Пожить в тихом Судаке папе настойчиво рекомендовал его прозектор – крымчак Н. В. Алтухов. Там у его знакомых Полевых на самом берегу моря был дом, в котором они сдавали комнаты. Так как по берегу до Судака добираться было очень далеко, да и дорога была малопроезжая, то отправились опять морем. Пассажирские пароходы в Судак не заходили, и мы сели на товарно-пассажирский пароход «Трувор». Классных пассажиров на нём, кроме нашей семьи, не было. Только вышли из Ялты – началась качка. Мёртвая зыбь, в которую попал наш пароход, даёт неправильную качку. Судно то переваливается с боку на бок, то ныряет носом. Все, кроме папы и Мити, страдали от морской болезни. А когда мне делалось очень плохо и меня тошнило, помощник капитана, который безотлучно находился с нами, брал меня правой рукой под мышку, а левой за шиворот и выставлял меня наполовину за борт. Так мы и доехали до судаковской бухты. Было ещё светло, но небо покрылось тучами, море волновалось и дул порядочный ветер. Мы опять спустились в шлюпку и поплыли к берегу. Порыв ветра сорвал с папиной головы белую панаму. Один из матросов взял багор, остальные подгрести к шляпе, плававшей на волнах, и она была «спасена».

На берегу стоял довольно неприветливый одноэтажный дом – «гостиница» Полевых. Она вовсе не была похожа на

гостиницу. Всё производило на первый взгляд плохое впечатление. Берег моря был безлюден. На другое утро море успокоилось, засияло солнце, и всё предстало в ином свете. Дом не выглядел уже таким мрачным – просто деревянный обычный дом со своими особенностями. Хозяева были приветливые, их сильные сыновья исполняли заодно обязанности прислуги. Старший из сыновей Полевых дружил с Наташей и Клавдией и по вечерам под гитару пел им довольно легкомысленные куплеты и трогательные романсы, а младший Миша, постарше нас, был с нами и посвящал нас во все приморские удовольствия. Мы купались по несколько раз в день, гуляли по пляжу, ловили рыбу.

У Полевых в 2–3 верстах от берега было маленькое имение с запущенным виноградником – Очиклары. Всей компанией вместе с Полевыми мы туда и отправились, пили чай и ели мелкий, но очень сладкий, без косточек виноград. Позже я узнал его сорт – Коринка, который растёт около Коринфа в Греции, куда я попал в 1903 году^[74].

Из Судака на лошадях мы ездили в Кизилташ. Это довольно далеко. В чудесной местности был маленький, кажется, уже тогда упразднённый монастырь. Жило там несколько старых монахов, у них можно было получить самовар, а провизию, конечно, мы захватили с собой.

Настала пора расставаться и с полюбившимся нам Судаком. Каким путём ехать? Морем – мама теперь не соглашалась: она особенно страдала от качки. Регулярного же сооб-

щения до Алушты, откуда было налажено лошадное сообщение на Бахчисарай и Симферополь, не имелось. Папа отправился в немецкую колонию, где ему удалось нанять старинную коляску, лошадей да что-то вроде почтовой телеги старых времён и условиться, что нас без смены лошадей, но с ночёвкой доставят в Алушту. Дорога – 80 вёрст – шла в горах и к морю ни разу не выходила – это было сделано специально для безопасного перемещения войск, чтобы с моря, их нельзя было обстреливать. Запасли еды, нажарили баранины на два дня и не спеша отправились. Ехали шагом, так как дорога то круто поднималась в гору, то спускалась под гору и приходилось под колёса подкладывать тормоза – башмаки. Первый привал сделали у горного ручейка. Ели холодную баранину и пили воду с вином, поскольку вскипятить воду было не в чем. Когда лошади поотдохнули, двинулись дальше и ещё до захода солнца остановились на ночёвку в татарской деревне. У нашего возницы там был знакомый богатый татарин, в сакле которого мы и заночевали. Надо признать, крымские татары были весьма гостеприимным народом. Нам отвели «кунацкую» комнату, нарядно убранную чадрами, коврами и шитыми подушками. Сильно пахло айвой. Я отодвинул подушку и увидел, что они закрывали полки, на которых была разложена айва, а под полками на верёвочках, протянутых от стены к стене, висели виноградные кисти – они вялились, превращаясь в изюм.

Только рассвело, мы выехали и перед вечером добрались

до Алушты. Из-за неприветливой погоды мы отсюда никуда особенно не ездили. На Бахчисарай отправились в ясную, но прохладную погоду. Сели в поезд и вернулись домой в самом конце сентября.

Гимназия. Болезнь и смерть брата Мити

Жизнь в Москве протекала ровно, без особых событий. Наташа и Клавдия ходили в гимназию Перепёлкиной на Кисловку, я и брат Митя учились дома. К нам приходил студент Николай Николаевич Миронов, семейный и очень бедный; после него в комнате оставался какой-то характерный запах сырости. Но человек он был, по-видимому, хороший и обучал нас старательно.

Весной 1888 года Митя выдержал экзамены в третий класс Московской классической третьей гимназии и с осени облачился в гимназическую форму. Тогда на занятия надевали серую курточку, а в праздничные и торжественные дни – синий мундирчик с девятью серебряными пуговицами и серебряным галуном на воротнике. Имелось и пальто с серебряными пуговицами и синими петлицами на воротнике. Мне форма очень нравилась, и я хотел, чтобы и меня отдали в гимназию. И вот с 1888 года меня стал готовить во второй класс гимназии у нас дома студент Сергей Антонович Макаров, за которого впоследствии вышла замуж моя сестра.

18 апреля 1889 года Митя вернулся из гимназии с очень высокой температурой, тяжело захворал и ровно через ме-

сая, 18 мая, умер.

К больному ездили самые знаменитые врачи – до Захарьи-на включительно, но верного средства от болезни (менингита) никто тогда не знал. Захарьин сказал, что, конечно, брат может выздороветь, если этого Бог захочет. Плохое это было утешение для моих родителей.

Я знал, что Митя плох. И каждый раз, возвращаясь домой, прислушивался – рубят ли лёд в сенях, так как к голове Мити прикладывали пузырь со льдом. И вот 18 мая, возвратясь от моих тёток Веры Николаевны и Александры Николаевны^[75] и прислушавшись по обыкновению, с тревогой заметил – лёд не рубят.

Домашние уроки прекратились, и, чтобы не рисковать, меня послали на экзамен, но не во второй класс, а в первый. Держал я экзамены в третьей гимназии, но после смерти Мити родители не хотели, чтобы я там учился. И я был принят на основании выдержанных экзаменов в пятую гимназию, где директором был профессор греческого языка Московского университета А. Н. Шварц, будущий министр народного просвещения^[76].

То, что я попал не во второй класс, а в первый, оказалось довольно удачным. Учиться мне было легко, и я с самого начала был на хорошем счету. И хотя впоследствии бывали неудачи и затруднения, «старые заслуги» мне всегда помогали.

Родители никогда на меня за отдельные срывы не серди-

лись, прекрасно зная, что они не зависели от лености или небрежности. Зато успехам моим они искренно радовались.

Детский оркестр Эрарского

Когда я был в первом классе гимназии, я впервые играл квартет. К. А. Кламрот выбрал прелестный квартет Гайдна, и я выучил партию первой скрипки. У меня до сих пор сохранились ноты с отметками Карла Антоновича. По количеству отметок – штрихов пальцев и оттенков, показанных его рукой, можно судить, с какой тщательностью разучивал он со мной эту партию. Играли мы в нашей квартире. Партию второй скрипки исполнял сам Карл Антонович, виолончели – В. А. Рахманов, а вот кто играл партию альты – забыл.

Первый квартет стал для меня большим событием. И вообще, участие в квартете всю последующую жизнь являлось для меня лучшим удовольствием. Со средних классов гимназии я сделался постоянным участником квартета В. А. Рахманова, исполняя обычно вторую скрипку. Все партии, которые я прошёл с Карлом Антоновичем, до старости остались у меня в руках, и эти квартеты я играю с особенным наслаждением.

Сам Кламрот замечательно исполнял произведения классиков. Новой музыки он не любил. В большинстве случаев он исполнял классиков или, по крайней мере, романтиков – Шумана, Шуберта, Мендельсона.

С этого же года я начал играть в детском оркестре под

управлением Анатолия Александровича Эрарского^[77]. Это было очень милое предприятие. Струнные смычковые инструменты были настоящие. Играли ученики Синодального училища (мы и репетировали в его зале, находившемся около консерватории), а также посторонние дети – маленькие любители. А весь духовой состав оркестра был представлен клавишными инструментами, довольно хорошо имитировавшими тембр настоящих духовых инструментов^[78]. Впрочем, была и просто медная детская труба. На ней играл гимназист постарше меня – Померанцев^[79]. Арфу заменял обыкновенный рояль, а чтобы его звучание было больше похоже на оригинал, на струны рояля предварительно клали бумажную сурдину.

Многие из участников этого детского оркестра сделались впоследствии выдающимися музыкантами, назову лишь некоторых: Александр и Николай Метнеры, А. Ф. Гедике, Юрий Померанцев. Но знаменитыми они стали много лет спустя, а тогда Николай Метнер, например, изображал арфу, Гедике играл на каком-то духовом инструменте, я занимал место концертмейстера первых, а Александр Метнер – концертмейстера вторых скрипок.

Эрарский инструментировал для нас небольшие пьесы, а кое-что было написано и специально. С. И. Танеев для нашего оркестра сочинил маленькую симфонию. К сожалению, она, по-видимому, потеряна^[80].

Раза два в зиму мы давали в том же Синодальном училище

публичные концерты. В одном из них я впервые играл solo перед настоящей публикой. Исполнял я «Каватину» Раффа, а мой ближайший приятель Юрий Померанцев, учившийся тоже в пятой гимназии, но на класс старше меня, аккомпанировал мне на рояле.

Юрий окончил юридический факультет Московского университета и одновременно – консерваторию по классу фортепиано, по теории и композиции он был любимым учеником С. И. Танеева. Померанцев избрал музыкальную карьеру. Были у него и свои музыкальные сочинения. Его балет был поставлен на сцене Большого театра, когда Юрий ещё учился в университете. Было очень забавно видеть, как он выходил на вызовы «автора» на сцену в студенческом сюртуке за руку с танцовщицами. Позднее Юрий сам дирижировал в балете Большого театра. В войну 1914 года его призывали в армию, и он состоял при штабе одной из частей наших войск, расквартированных в Греции. Когда произошла революция, Юрий остался за границей, работал в Италии и Франции. Умер он в Париже, говорят, в театре за дирижёрским пультом^[81].

Во время одной из репетиций послушать нашу игру пришёл сам Пётр Ильич Чайковский. Это был единственный случай, когда я видел великого композитора и, более того, играл при нём его произведение. А произошло это событие так. Мы исполняли юмореску Чайковского, инструментированную для нас Эрарским. Анатолий Александрович стоял

лицом к нам и не заметил, как в зал вошёл Чайковский. Мы, конечно, узнали композитора (его портреты были хорошо известны) и тут же сообщили Эрарскому. Анатолий Александрович спустился с эстрады и поздоровался с композитором, нам тоже велел встать и поприветствовать Петра Ильича, после чего сказал:

– Ну, дети, теперь сыграем Петру Ильичу его юмореску наизусть! Закройте ноты.

У меня душа ушла в пятки. Я никогда раньше не пробовал исполнять скрипичную партию из этого сочинения по памяти.

Видя наше замешательство, Анатолий Александрович подошёл к дирижёрскому пульту и помог нам взять начало, затем снова спустился с эстрады и подсел к Чайковскому. Мы благополучно сыграли до конца пьесу – наизусть и без дирижёра, за что получили одобрение Петра Ильича.

Заболел Анатолий Александрович Эрарский, и оркестр, вернее директор Синодального училища Степан Фёдорович Смоленский^[82], устроил платный концерт, сбор с которого был передан на лечение Анатолия Александровича. Не могу припомнить, кто дирижировал в этот раз – едва ли не сам С. И. Танеев^[83].

Мы играли в детском оркестре года три. Когда А. А. Эрарский тяжело захворал (вскоре он умер^[84]), оркестр распался. Уроки немецкого и французского языков. По-немецки меня выучила говорить Мария Христиановна

Сакерсдорф, или Марсяна. Она была бонной в семье Машковцевых, и её дочь Мария Карловна, ставшая потом крёстной матерью моего брата Мити, росла вместе с моей мамой, тогда совсем маленькой.

Летом Марсяна и Мария Карловна обычно жили у нас в Дубне. Марсяна брала меня после утреннего чая, и мы отправлялись за пруд, где стояла уютная скамеечка, – там и проходили наши уроки. Сначала я заучивал слова. Подбор слов был такой: огород и овощи, плодовый сад и фрукты, части человеческого тела и домашняя обстановка, и так далее; потом вместе с Марсяной я пел немецкие песенки, содержание которых иногда преподавало, так сказать, и житейскую мудрость. Это не было изобретением Марсяны – у неё имелся старинный учебник, откуда она и заимствовала всю систему.

Так я научился разговаривать по-немецки, тем более что позднее постоянно поддерживал разговорную практику с К. А. Кламротом, который, прожив в России больше пятидесяти лет, так и не научился говорить по-русски. Да и дома у нас было принято часто говорить по-немецки. Мама и тётя Катерина Егоровна владели им совершенно свободно.

Французскому разговорному языку обучал меня милейший француз Готьё. Сначала к нам ходила какая-то француженка, о которой у меня остались смутные воспоминания. Помню только, что на её уроках было чрезвычайно скучно. Однако французскую речь я скоро стал немного понимать.

Методика обучения у Готье была просто поразительная: он приходил, садился посреди дивана, а я ложился с одной стороны и клал голову к нему на колени, с другой на диван забиралась собака Дружок, и месье Готье начинал рассказывать бесконечную сказку, в которой будто бы и он сам был действующим лицом: то мастером, то матросом, то танцовщиком в балете, то артистом цирка, то чуть ли не разбойником. Действие же происходило то в городах Европы, то в каких-то экзотических странах. Эти бесконечные истории казались мне страшно интересными, и я каждый раз с нетерпением дожидался прихода учителя.

Мама, которая слушала из соседней комнаты, как-то сказала мне:

– Я думаю, что никакого толку от этих сказок не будет. Говорит один Готье, а тебя совсем не слышно. Я думаю, что ты и не понимаешь, что говорит Готье, а уж сам говорить никогда не научишься.

Я обиделся и за Готье, и за себя и свободно хорошим французским языком стал пересказывать то, что в последний урок слышал от Готье.

Впоследствии практики французского разговора я имел мало и многое забыл, но, во всяком случае, и теперь достаточно хорошо понимаю французскую речь и читаю по-французски, а когда попадал во Францию, то быстро всё вспоминал и объяснялся вполне удовлетворительно.

Английскому языку я учился уже совсем взрослым чело-

веком. Уроки брал в Гейдельберге в школе Бёрлица^[85]. Довольно быстро овладел разговорной речью, так что мог в Англии более или менее порядочно разговаривать, но потом так же быстро, как научился, забыл английский – в памяти остались лишь отдельные слова.

Приобщение к церковным службам

В первый раз я говел и исповедовался восьми лет от роду на Страстной неделе^[86]. На этой неделе говели буквально все, и дома темой разговоров были преимущественно церковные службы и предстоящие праздники. Все ходили в университетскую церковь^[87] к обедне и всенощной и причащались в Великий Четверг. Настя (Кусенька) особенно покровительствовала исполнению мной поста. Когда я подрос, ходил с Настей в храм Спасителя^[88] в ночь с пятницы на субботу на службу Погребения, которая здесь совершалась с большой торжественностью, и хотя стоять всю ночь без сна было тяжело, необычайная торжественность службы и сама трудность стояния производили сильное впечатление.

Первым моим духовником был профессор богословия Московского университета Сергиевский. Этот строгий старик замечательно картинно служил и в Великий Четверг сам читал двенадцать Евангелий, слушать которые всегда собиралось множество народа – и университетских, и к университету не имеющих никакого отношения, так что большая церковь сплошь наполнялась московской интеллигенцией. По

старинному обычаю женщины занимали в церкви левую половину, а мужчины – правую, куда становился и я, как только стал говеть и исповедоваться.

Перед первой исповедью я сильно волновался. Чтобы не забыть, что мне надо сказать духовнику, у меня была приготовлена записка, которую я крепко держал в руке. Но пользоваться запиской не пришлось. Когда я взошёл на правый клирос за ширму, где исповедовал Сергиевский, и положил земной поклон перед Крестом и Евангелием на аналое, я стал перед Сергиевским, сидевшим на стуле. Сергиевский подвинул меня близко к себе и начал наставлять, как я должен себя вести, как относиться к окружающим людям, особенно к родителям. Он говорил умно и убедительно, потом велел стать на колени, положил епитрахиль мне на голову и прочитал отпускную молитву. Этим моя первая исповедь и была закончена. Я почувствовал большое облегчение, и это поучение Сергиевского навсегда осталось хорошим воспоминанием из детских лет.

В четверг после обедни и причастия приходили домой, приносили в чистой салфетке порядочный узелок очень вкусных просфир^[89], которые выдавались каждому из причастников. А дома уже были готовы постный пирог и чай с кагором.

Днём в четверг красили яйца, а Настя готовила «четверговую соль» – соль смешивалась с яйцом, завязывалась в узелок и всё это сжигалось в печке. Получался спёкшийся

комок, который толкли в ступке – выходила серая соль со своеобразным запахом и вкусом. Ею и солили яйцо, когда после Светлой Заутрени^[90] разговлялись.

Пасху и куличи начинали готовить в пятницу. Мы, дети, были очень заинтересованы этим приготовлением. Так соблазнительно пахло ванилью! Однако пробовать не полагалось. Куличи пекли в субботу утром, потом они тёплые лежали на боку на подушках у тёти и у мамы. Делалось это для того, чтобы сильно поднявшиеся горячие куличи не сели, остывая.

К Светлой Заутрене мы ходили в университетскую домовую церковь, она помещалась в новом здании университета на Никитской (улица Герцена), там, где теперь университетский клуб. Я очень любил эту церковную службу. В церковь отправлялись рано – часов в одиннадцать, чтобы успеть занять свои обычные места слева у амвона^[91]. В церкви ещё полутемно, но народ уже есть. Мужчины – в мундирах и фраках, дамы – в нарядных светлых платьях. В алтаре открыто окно, чтобы был слышен первый удар колокола на Иване Великом^[92], с которого по всей Москве начинался крестный ход.

Перед двенадцатью часами профессора в мундирах и орденках берут иконы и ждут, когда отворятся Царские Врата^[93], и духовенство в светлых ризах, священник с крестом, украшенным букетом цветов, не выйдет из алтаря. Часть народа следует за крестным ходом, мне же нравилось остаться в по-

лутёмной церкви. Большие входные двери затворялись, и наступала напряжённая тишина. Все оставшиеся прислушивались к тому, что делается за затворёнными дверями. Крестный ход, обойдя вестибюль, возвращался к дверям, и тогда нам слышалось заглушённое пасхальное пение. И вот открываются входные двери, врывается пение «Христос воскрес», поджигается зажигательный шнур и пламя обегает свечи паникадил. В церкви делается светло, и священник, идущий во главе возвращающегося хода, обращается направо и налево с радостным известием: «Христос воскрес», а все ему отвечают: «Воистину воскрес».

По возвращении домой разговлялись пасхой, куличом и яйцами. В учебных заведениях на Страстной неделе и всей Пасхальной неделе занятия отменялись.

Моё первое увлечение. Домашние спектакли

Однажды (я ещё не учился в гимназии) дома на Страстной неделе родители неожиданно заговорили об одной необыкновенно хорошенькой девочке. Она говела в университетской церкви и, стоя впереди у самого амвона, всегда очень усердно молилась. Обратил и я на эту девочку внимание и, несмотря на свой малый возраст, даже начал заглядываться на неё. Когда же я учился в первом классе и был, так сказать, уже «самостоятельным человеком», я вновь заметил её, выходящей из церкви, и на значительном расстоянии пошёл следом за нею.

Такое «ухаживание» повторялось несколько раз и, конечно, его заметил мой двоюродный брат Лёня Полов, учившийся в то время в Московской гимназии Креймана и проводивший у нас праздники.

Как-то Лёня рассердился на меня за что-то и заявил обиженно:

– погоди! Я тебе расскажу про твои шашни, как ты за девчёнкой бегаешь.

Я – в отчаянии, так как был уверен, что Лёня обязательно исполнит своё обещание, доложив и то, чего на самом деле и не было. Поэтому я решительно отправился к тётке Екатерине Егоровне и поведал ей о своём раннем увлечении. Старшие посмеялись, но не осудили меня, так как девочка и в самом деле была исключительно хорошенькая.

Познакомился я с этой девушкой только тогда, когда студентом стал общаться со многими учениками и ученицами консерватории. Звали её Лёля Дементьева. Она тоже училась в консерватории и мечтала быть пианисткой. Тогда же выяснилось, что, когда я ходил её провожать, она замечала маленького поклонника, но ничего против такого «ухаживания» не имела. В компанию консерваторок, с которыми я и мои ближайшие друзья, Юра Померанцев и Миша Полозов, долгое время дружили и в молодости весело проводили время, входили: сёстры Прокопович – скрипачки, Леночка Щербина – впоследствии одна из самых известных пианисток, Лиза Фульда и некоторые другие. Принадлежала к этой

компании и Лёля Дементьева.

Расскажу теперь, какие бывали у нас домашние спектакли.

Квартиры в те далёкие времена были большие, комнаты просторные, так что и в зале московской квартиры на Никитской устраивалась хорошая сцена – правда, без помоста, но с занавесом и кулисами. Сцена занимала половину зала, другая половина заполнялась четырьмя рядами стульев – публички усаживалось человек пятьдесят. А в Дубне было ещё удобнее. Внизу для столовой были соединены две комнаты, вместо стены между ними были поставлены две колонки, на них и укреплялся занавес. Одна комната являлась сценой, другая – зрительным залом. Продолжением его служил балкон, где собирались неперменные зрители из деревни.

В Дубне было поставлено два спектакля. В первом играли приспособленную к театру пушкинскую повесть «Барышня-крестьянка». Я в нём не участвовал. Заглавную роль исполняла Наташа, и, надо сказать, великолепно. Во втором спектакле – по пьесе Островского «Свои люди – сочтёмся» – я уже имел маленькую роль мальчика Тишки. Липочку играла Наташа, приказчика – С. А. Макаров. Спектакль очень удался. Публика – и в зале, и на балконе – была довольна и много аплодировала. Затем были танцы и ужин. Танцы играла В. А. Нащокина.

Однажды, когда я был ещё во втором классе, поставили мы два водевиля, в том числе некогда-то очень популярный

— «Булочника немецкого». В нём была представлена история о том, как некий молодой человек ухаживает за дочкой немца-булочника, а тот не хочет пускать его в свой дом. Но поклонник оказался весьма находчивым: он заказал булочнику такой большой крендель, что он не пролезал через форточку. В итоге всё заканчивается тем, что булочник выдаёт свою дочь за молодого человека.

В этом водевиле я играл старика булочника. Исполнителями мужских ролей в обоих водевилях, кроме меня, были Лёня Полов и мой друг и одноклассник Саша Кезельман. Женская роль досталась дочке профессора Марковникова Наде, с которой мы очень дружили. Гримировал же нас настоящий театральный гримёр Чугунов, имевший рядом с университетом собственную парикмахерскую.

Наташина компания в Москве ставила «Замужнюю невесту» А. С. Грибоедова, а когда я учился в третьем классе, мы с моими гимназическими товарищами на рождественских каникулах сыграли «Ревизора». Подготовка к нему была уже делом довольно сложным. Требовалось много исполнителей, да и выучить пятиактную пьесу не легко. Всем предприятием руководила тётя Катерина Егоровна. Задолго стали разучивать роли и по воскресеньям делать читки и репетиции. Я играл Городничего. Костюм мне перешли из моего старого гимназического мундира. Между прочим, роль свою я запомнил так хорошо, что и сейчас, через 53 года, начало первого акта могу цитировать наизусть. Всей компанией мы

ходили смотреть «Ревизора» в Малый театр и старались подражать его артистам.

Папа соорудил сцену – зал разделил пополам порталом из ситцевых красного цвета драпировок, светлым, полосатым и тоже из ситца был и занавес. На верху портала укрепил надпись: «Feci quod potui, faedant meliara potentes» («Я сделал, что мог – пусть сделают лучше те, кто может»).

Спектакль прошёл почти без запинки. Только в последнем акте «судья», гимназист Сахаров, забыл свою реплику, что вызвало некоторое замешательство, не повлиявшее, однако, на общее настроение и «шумный успех». После спектакля В. А. Рахманов снимал «немую сцену» и сцену Хлестакова с Марьей Антоновной и Анной Андреевной. К сожалению, фотографии эти, хранившиеся до 1941 года, погибли при разграблении дома в Дубне.

Это Рождество выдалось необычно весёлое. Кроме постановки «Ревизора», папа побаловал меня, вызвав из Дубны нашу пару вятков, купил городские трёхместные сани, и мы с родителями или с товарищами катались по Москве. Как раз в день спектакля поехали мы с товарищами в Петровский парк, и наш дубненский кучер, не очень привыкший к езде по Москве, вывалил всю компанию, человек пять, в сугроб, отчего стало ещё веселее.

Участвовал я ещё раз, уже студентом, в домашнем спектакле по пьесе «Первая муха» в доме профессора Алексева. Его дочка Ануся увлечённо устраивала спектакли, да и

сам Александр Семёнович Алексеев тоже очень любил эти молодёжные затеи и всячески поощрял и баловал нас. Миша Полозов, мой ближайший товарищ, и я изображали каких-то крупных чиновников. На генеральной репетиции на нас были настоящие мундирные фраки, заимствованные у моего отца и Александра Семёновича, и их же настоящие орден. После репетиции весьма довольный Алексеев сказал:

– В награду за ваши старания прокачу-ка я вас на тройке, а заодно и ужином угощу!

У подъезда уже стояли три тройки, и мы, как были в костюмах и орденах, покатали в Петровский парк в ресторан «Стрельна»^[94]. Там был замечательный зимний сад с большими растениями и великолепным бассейном. Служащие «Стрельны» встретили нас с большим почтением, полагая, что мы и вправду важные люди. Мы их заблуждения не рассеивали.

Был у Алексеевых и выездной спектакль. Всю нашу компанию пригласили на бал в очень богатый дом родственников Алексеевых – фабрикантов Прохоровых^[95]. Для этого случая мы разучили маленькую пьесу, в которой какой-то средневековый рыцарь пел серенаду, а так как я обладал неплохим баритоном, то и получил эту роль. Мы приехали, переоделись в средневековые костюмы, и наш спектакль открыл бал. Спектакль длился не больше получаса. Затем мы переоделись в обычное платье, и бал продолжился своим чередом.

Первая охота. Смерть тёти Катерины Егоровны

Папа не был заядлым охотником, но ружья имел и иногда ходил на охоту с нашим соседом С. И. Шуманом, владельцем маленького имения в версте от нас при деревне Каргашино. Вот тот был настоящим охотником, держал множество собак. С ним-то и связаны мои первые охотничьи впечатления, хотя я, как и папа, никогда заядлым охотником себя не считал. Охота для меня была скорее забавой, чем страстью.

Когда мне исполнилось лет четырнадцать, папа взял меня на охоту с гончими. Я получил прехорошенькое одноствольное ружьё центрального боя, которое папа специально заказывал на Тульском оружейном заводе, – в продаже в те времена одноствольных центрального боя ружей не было. Преимущества его – необыкновенная лёгкость и очень недурной бой. Впоследствии я с ним всегда и ходил на охоту. Оно дожило до революции 1917 года и было украдено бывшим нашим кучером Чувиковым.

Пошли мы в лес за Жальским – верстах в 2–3 от Дубны. Вскоре гончие напали на след; тявкнула одна, за ней другая собака, а там и вся стая подняла лай, совершенно особенный, характерный именно для гона, – это совсем другая музыка, чем беспорядочное гавканье собак при приближении незнакомого человека.

Папа выбрал подходящую опушку поляны, поставил меня, а сам встал недалеко. Гон удалялся, я уже думал, что

зверь уйдёт далеко, но опытные охотники знают, что заяц никогда вдаль не уходит, он кружит на одном месте, прячется в кустах, перебегает из перелеска в перелесок, а по поляне, если собаки совсем близко, несётся сломя голову, прячась затем снова в кустах. Но вот гон стал приближаться. Сердце у меня так и запрыгало. Я ждал, что из кустов выскочит заяц, но вдруг услышал выстрел и вслед за ним – звук охотничьего рога, которым Шуман сзывал собак. Это означало, что зайца убили.

Мы с отцом собрались было идти на звук рога, как неожиданно я увидел большого зайца: он не спеша выпрыгнул из кустов недалеко от меня и так же не спеша, прыжок за прыжком, пересекал поляну – это был «пуговой» заяц, его собаки не гнали, а он сам, заслышав шум гона, выстрел и звук трубы, с испуга удирал. Сердце у меня забилося сильнее, я приложился к ружью и, почти не целясь, выстрелил. Заяц перекувыркнулся, упал и задргал лапками.

Позже я завёл свою стаю, родоначальником её стал красивый костромской гончий пёс Шумила – чёрный с жёлтыми подпалинами, жёлтой мордой и белой грудкой, обладавший прекрасным голосом. Я купил его у охотника, жившего на Бутырской мельнице, всего за 10 рублей. Потом появились рыжая Змейка и их потомство, кажется, четыре пса.

Студентом я любил приехать в Дубну дня на два, погулять по осенним лесам и послушать музыку гона. Иногда удавалось добыть и зайца, тем более что я скоро научился выбе-

гать навстречу гону, а бегал я очень хорошо.

Моя первая охота доставила мне и ещё один успех. В гимназии учитель русского языка В. А. Соколов, сам большой любитель поохотиться, после лета предложил нам написать сочинение, а тему выбрать любую, подсказав: «Можете описать какой-нибудь день каникул». Я описал мою первую охоту и получил за сочинение пятёрку, на которую Соколов не был щедр.

В том же году, осенью, 26 октября, в день папиных именин и рождения, умерла тётя Катерина Егоровна. В этот день всегда бывало много народа. Утром служащие Анатомического театра обычно приносили огромную просфиру, вынутую за обедней во здравие папы, а друзья и знакомые – торты. Дома пекли пироги и приготавливали всякое угощение. Днём одни поздравления сменялись другими. И тётя Катерина Егоровна хлопотала, как всегда, больше всех.

Наступил вечер. В доме оставались доктор Бунчак и А. Ф. Шнейдер. Я же пошёл к себе в комнату готовить уроки. Сел за стол, что-то начал читать, потом поднимая голову и вижу – передо мной стоят три зажжённые свечи. Я поспешно загасил одну свечу и продолжал готовить уроки. Но после всего происшедшего у меня осталось очень неприятное ощущение, хотя я всегда старался не придавать особого значения приметам. Позже я заглянул в комнату тётки Катерины Егоровны и, увидав, что она плохо себя чувствует, побежал звать папу. Но, несмотря на все усилия и постоянно

имевшиеся у папы под рукой медицинские средства (шприц и разные лекарства), помочь тётке не удалось, через полчаса она умерла.

Эта потеря для меня и всей нашей семьи оказалась весьма ощутимой. Сколько помнится, тётя Катерина Егоровна всегда жила в нашей семье и трудно даже сказать, кто больше занимался с детьми – мама или тётя. Во всяком случае, она всю свою жизнь посвятила нам, детям. С тех самых пор, хотя, повторюсь, я не суеверен, три горящие свечи вызывают у меня тяжёлые ощущения.

Покупка скрипок

Четырнадцать лет я уже очень прилично играл на скрипке. Последние года два – на прекрасном инструменте, который мне предоставил сам Кламрот – это была трёхчетвертная скрипка, итальянская, работы Николая Амати. Позже Кламрот продал её отцу моего гимназического товарища и верного друга Доди Рывкинда. Мне пора было переходить на инструмент полного размера, и Кламрот дал мне свою скрипку, неплохую, но довольно обыкновенную. Папа хотел купить мне хороший итальянский инструмент. Я ещё играл в оркестре Эрарского и встречал там сыновей виолончелиста Альбрехта^[96]; я рассказал им о желании папы, и они сказали, что у их отца есть инструмент работы Маджини, принадлежавший брату виолончелиста^[97], а раньше – будто бы самому Вьётану. Альбрехт-отец как раз был назначен преподава-

телем Саратовского музыкального училища^[98] и собирался продать скрипку – ему были нужны деньги на переезд в Саратов. И однажды рано утром совершенно неожиданно, запыхавшись, к нам домой пришёл Кламрот и сказал, что ему предлагают для меня очень хороший инструмент – надо сейчас же идти смотреть, иначе можно упустить. Я даже в гимназию не пошёл, и моя «Маджини» была куплена. Стоила она 1100 рублей, по тому времени – большая сумма. Однако скрипка того заслуживала – это был действительно прекрасный инструмент, на котором я играю и до сих пор. Может быть, моя любовь к игре на скрипке и то, что я до старости охотно занимаюсь ею и поддерживаю технику, отчасти объясняется и тем, что скрипка звучит неизменно прекрасно.

Купленную скрипку гардировал очень милый старинный московский скрипичный мастер И. С. Самарин. Он поставил новую шейку, старая была уже сильно истёрта, ведь возраст скрипки при покупке составлял около трёхсот лет, а теперь и все триста пятьдесят.

Много позже, когда я окончил университетский курс и получил премию имени Мошнина за работу по акустике (1904 год)^[99], в награду за мой научный успех папа подарил мне ещё одну скрипку, купленную им у Шпидлена, по утверждению последнего – работы Штейнера, тоже очень известного мастера. Когда же в годы революции я вынужден был продавать вещи и собирался расстаться с этим инструментом, отыскался покупатель, дававший за него хорошую цену, но,

в конце концов, я передумал продавать скрипку. Когда мы переехали обратно в Москву, я дал её Вове Власову, который её и погубил. По его словам, скрипку раздавил грузовик, под который он попал, но, может, её у него просто украли. Во всяком случае, щепок от неё я не видал.

Преподавать греческий язык в шестом классе вместо умершего В. Г. Аппельрота^[100] у нас стал директор гимназии профессор А. Н. Шварц. Аппельрот не был, собственно, настоящим классиком. В Московском университете, где он состоял приват-доцентом, его главной специальностью было искусствоведение. Он и нас обучал больше истории греческой культуры, нежели переводам текстов с русского на греческий язык. Было это, конечно, интересно, но совсем не тем, что требовалось по гимназической программе. Когда же Шварц появился в классе, то первое, что он сделал, задал extemparale – письменный перевод с русского на греческий. Тройку получил лишь Карандеев, который все восемь лет обучения в гимназии оставался среди нас первым учеником. Остальные довольствовались двойками и единицами. Мне же директор поставил ноль.

Другой моей отметкой по греческому языку в первой четверти стала единица, а следующей – двойка. Вероятно, Шварц видел, как я изо всех сил стараюсь улучшить свои успехи, и всё же вывел мне в четверти тройку. Тогда же директор гимназии порекомендовал папе пригласить для меня репетитора по греческому языку из преподавателей –

П. И. Молчанова, который и приходил к нам раза три в неделю и часа по полтора занимался со мной. Занятия были трудны и утомительны, зато дела мои по греческому языку быстро наладились.

Кончина Александра III и торжества по случаю коронации Николая II

В октябре 1894 года от болезни почек в Крыму в Ливадии скончался император Александр III. Умер он утром^[101], но в Москве до следующего дня об этом не сообщали.

К нам на квартиру в день кончины императора, часа в четыре, приехал дворцовый генерал и сообщил, что папа должен немедленно, с экстренным поездом выехать в Крым. О смерти царя он не сказал, но всё стало ясно. Папа был анатомом и крупным специалистом по бальзамированию, его и раньше вызывали по такому поводу. Из членов царской фамилии ему довелось бальзамировать Александру Георгиевну, жену великого князя Павла Александровича, умершую в Ильинском под Москвой, и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Дворцовый генерал папу дома не застал – он читал лекцию в училище живописи и ваяния^[102]. Я отправился за ним. И в тот же вечер папа, его прозектор Алтухов и старший служитель Иван Головлёв, захватив нужные материалы, уехали. По тем временам добирались они до места очень быстро – до Симферополя часов 30, а оттуда на лошадях через Алушту в Ялту.

Тело императора уже сильно раздуло, кожа потемнела. Отец со своими помощниками работал часов 18–20 и привёл всё в порядок. После он гордился этой работой, считая, что она ему очень удалась, несмотря на трудные условия – бальзамирование проводилось в страшную жару и более чем через двое суток после смерти^[103].

На крейсере «Память Меркурия» тело покойного императора перевезли в Севастополь. Затем доставили в Москву, где оно было выставлено в соборе Кремля для поклонения. Потом его перевезли в Петербург и установили в Петропавловском соборе, куда публика допускалась в течение шести недель. Собор закрывался только на ночь, и то лишь на несколько часов. Всё это время папа следил за состоянием тела покойного и, чтобы потемневшая кожа не вызвала неприятного впечатления, постоянно подкрашивал лицо умершего государя^[104].

После похорон царя папа вместе со служителем вернулись в Москву. Иван Головлёв среди университетских служителей сразу сделался знаменитостью. Почти каждый день его приглашали в гости, где он должен был рассказывать о своём участии в бальзамировании покойного императора. Его рассказы непременно сопровождались выпивкой и закуской. От такого времяпрепровождения Иван заболел и вскоре умер.

Кстати, о личности Александра III. Историк М. Н. Покровский теперь изображает его глупым человеком, трусом и запойным пьяницей. Вряд ли всё это верно. Алек-

сандра III прекрасно понял Паоло Трубецкой, скульптор. Памятник императору работы Трубецкого стоял перед Московским вокзалом в Петербурге. Человек громадной силы сидит верхом на дикой лошади (дикая лошадь, очевидно, Россия) и без всякого напряжения сдерживает коня^[105]. В царствование Александра III не было ни одной войны. Думаю, его сила воли и авторитет сыграли немаловажную роль в удержании европейского равновесия. Выпить же император, по-видимому, действительно любил.

Сколько я мог понимать и наблюдать Александра III, по крайней мере в Москве, он пользовался большой популярностью. Вся Москва бежала встречать царя, когда он бывал в ней проездом. Никто народ не гнал. И все стремились проститься с покойным императором, когда его тело было выставлено в Кремле. Николай II подобной популярностью в народе уже не пользовался.

Въезд его в Москву для коронации в мае 1896 года мы наблюдали с университетской трибуны, выстроенной недалеко от Тверской заставы. Блестящий кортеж двигался из Петровского дворца (ныне Военно-Воздушная академия) по теперешнему Ленинградскому шоссе, далее вдоль всей Тверской и через Спасские ворота в Кремль. На всём пути шпалерами стояли войска. В кортеже шли и ехали представители сословий, войск, учреждений, гости и представители держав западных и восточных, последние — в своих национальных роскошных костюмах.

Мать царя, его жена, члены царской фамилии – великие княгини и княжны находились в золочёных каретах, кругом стеклянных, заложенных шестёрками белых лошадей. Будущая царица раскланивалась направо и налево, лицо её было всё в красных пятнах – очевидно, она сильно волновалась. Сам царь ехал верхом на белой лошади в полковничьей форме, всё время держа руку у козырька фуражки. Его невзрачная фигура среди блеска кортежа производила какое-то жалкое впечатление. Говорили, что кое-где среди криков «ура», которыми войска встречали царя, слышались и отдельные свисты. Вообще, настроение было уже не таким, какое бывало при обычной встрече Александра III.

Папа был представителем от университета и участвовал в шествии из дворца в Успенский собор, а мама и я смотрели на торжество с площадок колокольни Ивана Великого. После коронации царь и царица в бриллиантовых коронах вышли из собора. Царица, красивая женщина, в небольшой императорской короне, производила хорошее впечатление. И, напротив, громадная бриллиантовая корона царя, надвинутая глубоко на уши, и огромная золотая порфира, которую поддерживали высшие чины государства, как-то подавляли маленькую фигуру императора.

Торжества были испорчены окончательно несчастьем, происшедшим перед самым началом народного гуляния на Ходынском поле. А мнение о царе ещё более ухудшило его равнодушное отношение к этой народной трагедии. Все ба-

лы и празднества несмотря ни на что продолжались. В день Ходынки во Французском посольстве состоялся бал, и царь присутствовал на нём, будто ничего не случилось, будто в этот день не погибло несколько тысяч людей, явившихся по приглашению царя на праздник^[106].

Весь май, в связи с коронационными торжествами, гимназисты были свободны. Наша гимназическая компания увлекалась игрой в теннис, впервые появившейся в Москве. Площадка для него находилась в Зоологическом саду, и мы безраздельно ею пользовались. Ходили смотреть иллюминацию Москвы. Зрелище было потрясающим. По вечерам все амбразуры стен Кремля и все архитектурные линии его зданий и соборов были унизаны горящими электрическими лампочками. По улицам пылали «плошки». Делалось это так: на площадку клали фитиль и заливали его салом. Затем плошки расставляли на тумбы, которыми отгораживались тротуары, и зажигали фитиль. И хотя копоты было много, живое пламя площадок украшало улицы. Очень красиво была иллюминирована набережная против Кремля. Там были устроены светящиеся фонтаны – освещённые изнутри струи воды падали в реку и точно растворялись в ней.

Тайное замужество сестры Наташи

В конце сентября 1894 года сестра Наташа обвенчалась с С. А. Макаровым. Родители сильно противились этому замужеству, настаивали на том, чтобы Наташа отложила выход

замуж, по крайней мере, до окончания Сергеем Антоновичем университетского курса. Где-то в глубине души родители также надеялись, что если дело затянется, то, может быть, оно и совсем не состоится. И чтобы отвлечь Наташины мысли от этой затеи, зимой предыдущего года папа отвёз её в город Слободской к сестре бабушки Александры Васильевны, которая была игуменьей монастыря.

Папа, мама и я в начале лета ездили по Волге, Каме и Вятке в город Вятку, а оттуда на лошадях в Слободской; погостили у маминых родственников и с Наташей вернулись тем же путём домой – железной дороги из Москвы на Вятку тогда не было. Зимой же папе с Наташей пришлось ехать от Нижнего Новгорода на лошадях 600 вёрст.

Как ни уговаривали Наташу отложить замужество, она от него не отказалась и потихоньку от родителей обвенчалась. В Дмитровском уезде жил священник, рисковавший венчать «краденые свадьбы» – между родственниками или без разрешения родителей невесты. Делал он это, разумеется, за повышенное вознаграждение. Его-то услугами и воспользовались Наташа и С. А. Макаров. Адрес этого сельского священника указывали чиновники духовной Консистории. Очевидно, и они получали от этого некоторый доход.

Наташа продолжала жить с нами, и её замужество выяснилось в конце ноября или в декабре, когда папа вернулся из Петербурга после похорон Александра III.

Так как родители не собирались прощать Наташу, она ста-

ла жить в семье Сергея Антоновича. Дома от такого положения у всех было неприятное настроение. Выйти из него помогла Софья Петровна Рубцова, мамина приятельница, в её жизни произошло приблизительно то же самое, что и у Наташи. Перед Страстной неделей, когда папа собирался говеть, исповедоваться и причащаться, Софья Петровна как бы случайно заметила, что он-де как искренний христианин не может причащаться до тех пор, пока не простит Наташу и не благословит молодых. Родителям и самим было тяжело сносить возникшее разногласие. Они поплакали и решили кончить всё по-хорошему; забыв про старые обиды и огорчения, по старинному обычаю – иконой и хлебом благословили молодых. Так был положен конец семейному раздору, длившемуся несколько лет. Наташа с Сергеем Антоновичем стали жить самостоятельной жизнью. Сергей Антонович вскоре начал работать помощником у очень крупного адвоката Дерюжинского, затем и сам сделался присяжным поверенным и вёл крупные гражданские дела, что давало ему хорошее обеспечение. В Дубне папа выстроил им отдельный дом.

На пороге студенческой жизни

В седьмом классе учиться стало гораздо легче: трудные для меня переводы с русского языка на латинский и греческий прекратились, остальные же предметы давались легко. Очень хорошими были математики гимназии. Особенно легко было заниматься у профессора Л. К. Лахтина, он объяс-

нял математику так ясно, что учить дополнительно теорию дома почти не требовалось. Хорошо преподавал и профессор Д. Ф. Егоров, но его мы не любили: он был ещё молодым человеком и по молодости лет – строг и придирчив. Хорошие преподаватели были и по истории. Один из них – знаменитый профессор С. Г. Виноградов, однако мы его не совсем понимали – он не учитывал нашего возраста и брал слишком высокий и серьёзный тон. Гораздо лучше обучал нас также известный педагог – Н. В. Тарасов. Он с необыкновенной ясностью рисовал исторические картины, вполне доступные нашему детскому пониманию.

У нас оставалось времени и погулять, и повеселиться, и музыкой заняться. Семиклассником я уже достаточно хорошо играл концерт Мендельсона. К этому времени сложилась довольно большая и дружная компания, в кругу которой мы проводили практически все свои свободные дни. Мы встречались на катке – на Патриарших прудах, собирались на квартире у нашего товарища Лёни Прозорова. Играли в шарады и устраивали шумные танцевальные вечера. Сестры у Лёни учились в женских гимназиях, и их товарки были нашими постоянными дамами на танцевальных вечерах и в играх.

Излюбленной для всех нас и на катке, и в танцах была очень интересная барышня – М. А. Петунникова: она очень хорошо бегала на коньках и всегда охотно с нами танцевала. Была она старше нас, и нам, естественно, льстило то, что

вот взрослая интересная девушка жалуется нашу детскую компанию. Надо сказать, отношения среди нас были чисто товарищеские. Никаких романов не возникало, и только один из нас, Котляров, впоследствии женился на Мусе Миллер, также принадлежавшей к нашей компании.

Папе и маме было рекомендовано полечиться боржомскими водами, и в июне 1896 года мы втроём отправились на Кавказ. От этой первой моей поездки туда остались весьма скудные впечатления.

Наступил последний год учения в гимназии. Пора было задуматься, какую избрать специальность и на какой факультет поступать. То, что я непременно должен идти в университет, никакого сомнения раньше как-то не вызывало. Этому имелись веские причины. Во-первых, все мои предки, с прадеда Ефима Петровича^[107], были универсантами. Папа и дедушка Николай Ефимович являлись к тому же профессорами Московского университета. Во-вторых, во все технические и специальные высшие учебные заведения был громадный конкурс и, чтобы рассчитывать на поступление, надо было всё лето упорно заниматься.

Я всегда довольно успешно учился по математике, и у нас в семье установилось мнение, что мне необходимо идти на математическое отделение физико-математического факультета. Специально физического факультета в те годы не было, а специализировались математики на старших курсах. Да и о физике, откровенно говоря, я тогда не думал. В гим-

назии она была поставлена плохо: мы проходили физику чисто «меловую», без единого опыта. Правда, в течение трех лет, пока она преподавалась в гимназии, мы все же один раз побывали в физическом кабинете, в котором большинство приборов было сломано. И наше филологическое начальство, по-видимому, не считало нужным приводить кабинет в порядок. Поэтому мы в нём больше шалили, чем занимались делом.

Экзамены зрелости завершились благополучно. После них все окончившие – нас было человек 25 – устроили поездку на берег Москвы-реки в Кунцево. Взяли с собой закуски и вина. Кончилось тем, что большинство с непривычки лежало в бесчувственном состоянии. Я был относительно в порядке и насилу уговорил и дотащил до дому своего товарища Недёшева. Родители были в Дубне. Я привёз Недёшева к себе и уложил его спать в папином кабинете. Ничего слишком неприятного, конечно, не случилось, и всё же наше празднование оставило в душе нехороший осадок, будто бы мы такой большой момент в жизни, как окончание гимназии, отпраздновали глупо.

К 15 июля надо было подавать прошение о приёме в университет. И тут у меня возникло сомнение – идти ли на математическое отделение? С детства меня окружали врачи – профессора медицинского факультета. Их преподавательская деятельность и лечебная работа казались мне ясными и привлекательными. Два моих ближайших товарища – Недё-

шев, сын университетского казначея, и Кезельман, сын секретаря Правления университета, уверенно подавали на медицинский факультет. Правда, и на математическое отделение из наших подало человек шесть, из них близкий мне — Полозов.

Что делать? Я спросил у папы, и он дал мне совет, за который я был ему благодарен всю жизнь. Он сказал мне, чтобы я занимался математикой. Совета отца я послушался, но о физике по-прежнему не думал.

Вскоре папа встретил бывшего профессора Московского университета знаменитого астронома Бредихина. Тот поинтересовался, на какой факультет я поступил. А узнав, что на физико-математический, заметил: «Посоветуйте сыну заниматься физикой. Физиков постоянно не хватает, и потом эта специальность всегда даст кусок хлеба». Возможно, на окончательный мой выбор повлияло и это мнение. Во всяком случае, с первого же курса я стал внимательно присматриваться к физике и уже на втором курсе постарался попасть в физическую лабораторию. Тогда она была очень маленькой, и прохождение для всех студентов физического практикума не считалось обязательным. Так я стал заниматься и специализироваться по физике.

В практикуме я впервые встретил Петра Николаевича Лебедева. Я называю его своим незабываемым учителем. Таким этот замечательный человек, педагог и учёный остался на всю жизнь и для меня, и для других его учеников^[108].

Часть вторая (1897–1900)

Студент Московского университета

Итак, с осени 1897 года я – студент Императорского Московского университета физико-математического факультета первого курса математического отделения.

В отличие от нынешних студентов у нас имелась форма. На занятия надевался двубортный сюртук тёмно-зелёного, почти чёрного сукна с сине-голубым воротником или серая рабочая тужурка с голубыми петлицами. В торжественные дни и для балов полагалась другая форма – однобортный мундир с шитым золотым воротником (этого одеяния у меня не было). Летом студенты носили белый двубортный китель. Его я купил себе, кажется, в день последнего экзамена зрелости. За обедом, который мама устраивала по случаю нашего окончания гимназии, и на котором присутствовали мои ближайшие товарищи, я сидел уже в новом студенческом кителе.

Верхнее студенческое платье состояло из летнего пальто такого же цвета, что и сюртук. Зимой – то же самое пальто, только с барашковым воротником. Полагалась и так называемая «николаевская шинель» – учреждение серого сукна, громоздкое, с большой пелериной, а зимой – с бобровым воротником. Надевалась она внакидку, как дамская ротонда, или на один рукав. Мама, любившая меня баловать и наря-

жать, потребовала, чтобы я сшил себе такую шинель, уверяя, что она необходима в холодное время. На самом же деле теплее, чем в обычном зимнем пальто, в ней не было, так как она торчала во все стороны и отовсюду поддувало. Надевать же её в оба рукава и подпоясываться за неимением застёжек не разрешалось. На всех без исключения студенческих одеждах сверкали золотые пуговицы с государственными гербами. А при сюртуке и мундире надевалась шпага. Такая форма была введена после принятия устава 1884 года. Ранее студенты единой формы не имели.

Вводя единую студенческую форму, министерство, по-видимому, полагало, что если студенты будут в неё одеты, то легче станет бороться со студенческими беспорядками, которые возникали по разным политическим и внутриуниверситетским поводам. Вряд ли эта мера оправдала себя. С раннего детства я был свидетелем многих студенческих беспорядков. Об одном хочется вспомнить особо.

Инцидент с инспектором Брызгаловым

Событие это произошло в начале 90-х годов^[109], когда я был молоденьким гимназистом. Инспектором студентов в то время являлся Брызгалов. В отличие от многих своих коллег он был близок с тайной полицией. Его агенты, доносившие о всех разговорах и настроениях, имелись и в самой студенческой среде. Вероятно, к неугодным студентам Брызгалов применял и соответствующие меры воздействия. Во всяком

случае его сыскная деятельность не была секретом ни для студентов, ни для преподавателей университета. Но наступил день, когда студенты решили выжить Брызгалова, дав ему публично пощёчину^[110]. Исполнителя смелого замысла выбрал жребий. А осуществить задуманное предполагалось на студенческом концерте в Колонном зале Благородного собрания (так назывался прежде Дом Союзов).

Мы сидели на хорах почти над эстрадой, и нам хорошо был виден первый ряд партера, где среди прочих гостей находился и попечитель учебного округа граф Капнист. И вдруг во время выступления мы слышим – точно кто ударил в ладоши. Брызгалов, прикрывши щёку рукой, тут же встал и быстрым шагом прошёл по среднему проходу партера, наклонился к Капнисту и что-то ему сказал. Они оба покинули зал.

Оказалось, что студент, которому выпал жребий, намазав предварительно руку сажеей, так сильно ударил Брызгалова по щеке, что звук слышали во всём зале. На лице инспектора остался отчётливый сажевый отпечаток. Смельчака (к сожалению, забыл его фамилию^[111]) здесь же арестовали агенты Брызгалова. Однако шума особенного тогда не произошло, и концерт закончился благополучно.

Наутро студенты собрались во дворе старого университета и в знак протеста против ареста товарища объявили забастовку. Ворота на Никитскую сейчас же заперли (мне они хорошо были видны из окна передней нашей квартиры) и

никого на улицу не выпускали, а со стороны улицы стояли полиция и казаки. Около самих ворот находился маленький дом смотрителя университета¹, и у его подъезда лежала поленица отличных дров. После неудачной попытки отворить ворота студенты поняли, что попали в ловушку, и в полицию и казаков полетели поленья. Ощутимого вреда они, конечно, никому не причинили, тем не менее, вся поленица была выброшена на улицу.

Студенческие беспорядки, однако, продолжались недолго. Среди забастовщиков начались аресты. А студента, который дал инспектору пощёчину, отдали в солдаты. И всё же цели своей студенты добились – Брызгалову пришлось выйти в отставку. Вероятно, он нашёл работу по тайной полиции или по другой подходящей для него должности.

Все эти события относятся к тем временам, когда студенческую жизнь я наблюдал из окна нашей квартиры, а разговоры о ней слышал из бесед старших. Но и в мою студенческую пору беспорядки в среде учащейся молодёжи не затихали, приобретая иногда более резкие формы.

Должность инспектора студентов, несмотря на студенческие волнения, оставалась в штатном реестре университета. В 1897 году, когда я поступил в университет, инспектором был очень хороший человек – физик Давыдовский, позже профессор Высших женских курсов (затем II Государствен-

¹ В то время им был отставной, маленького чина офицер Дробылевский. – Прим. В. Д. Зёрнова.

ного университета). Перед началом занятий все новые студенты должны были представляться инспектору. Самая процедура представления проходила весьма торжественно. Являться полагалось в форменном сюртуке и непременно при шпаге. Но так как далеко не все студенты имели собственную шпагу, то служитель, стоя у кабинета инспектора, предлагал её нуждающимся напрокат за 10 копеек.

Приведя себя в должный вид, студенты по одному заходили в кабинет, приближались к стоявшему возле письменного стола Давыдовскому и рекомендовались, называя фамилию и факультет. Инспектор брал со стола экземпляр

«Правил для студентов» и, передавая его студенту, говорил: «Прошу прочесть и исполнять». Так, по крайней мере, происходило представление моё и моих ближайших товарищей.

Мои учителя и наставники – профессора Московского университета

Первыми моими профессорами были люди, разные по характеру, привычкам и наклонностям, но, безусловно, одарённые учёные, чьи научные труды были широко известны не только на родине, но и за границей. Отдельные эпизоды, касающиеся жизни и деятельности этих неординарных личностей, свежи в моей памяти до сих пор.

Деканом физико-математического факультета был Николай Васильевич Бугаев – ученик моего деда Николая Ефимо-

вича. На первом курсе Николай Васильевич читал введение в анализ и начала дифференциального исчисления; первые три его лекции заключались лишь в том, что он по своей напечатанной брошюре читал нам вслух историческое введение. Это производило странное впечатление, тем более что он держал брошюру не на столе, а за его краем, словно бы хотел скрыть от слушателей, что он читает по печатному. И в дальнейшем его лекции проходили довольно своеобразно. Так, он всегда сидел на стуле и сам на доске ничего не писал – лишь диктовал, а один из студентов записывал сказанное на доске. Причём записывал всегда один и тот же студент, которому за это заранее был обеспечен зачёт. На нашем курсе эту обязанность выполнял наш гимназический товарищ Аркадий Иванович Беляев.

Бугаев в лекциях часто ссыался на своего учителя – Н. Е. Зёрнова^[112], что мне, конечно, было приятно, и дифференциальное исчисление читал, весьма заметно приближаясь к тексту моего деда, изданному в 1842 году^[113] (экземпляр этого курса у меня сохранился).

Умный и добрейший человек, крупный учёный, Бугаев обладал вместе с тем многими странностями как в поведении, так и в характере. Например, он постоянно красил свои волосы или, лучше сказать, остатки волос. В понедельник он приходил в университет всегда свежевыкрашенным, причём со следами краски на шее и на руках. К концу недели краска (по-видимому, плохая) выцветала и зеленела. И ему снова

приходилось краситься.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Письмо Н. Е. Осокина Е. В. Зёрновой от 16 октября 1946 г. // Личный архив В. Д. Зёрнова, входящий в состав Коллекции документов по истории Саратовского университета В. А. Соломонова (Саратов) (далее – Коллекция В. А. Соломонова).

2.

Письмо Н. Е. Машковцева В. Д. Зёрнову от 19 августа 1946 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

3.

Цит. по: Ректоры Московского университета (Биографический словарь) / Сост. В. В. Ремарчук. – Справ. – информ. сер. «Московский университет на пороге третьего тысячелетия». М., 1996. Вып. 11. С. 117.

4.

Цит. по: Ректоры Московского университета... С. 117.

5.

Любимов Н. А. Речь на торжественном заседании Совета Императорского Московского университета, посвящённая памяти профессора Н. Е. Зёрнова. 12 января 1864 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

6.

Любимов Н. А. Речь на торжественном заседании Совета Императорского Московского университета, посвящённая памяти профессора Н. Е. Зёрнова. 12 января 1864 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

7.

Любимов Н. А. Речь на торжественном заседании Совета Императорского Московского университета, посвящённая памяти профессора Н. Е. Зёрнова. 12 января 1864 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

8.

Копия протокола заседания Московского Дворянского Депутатского Собрания, состоявшегося 13 июня 1852 г., о внесении Е. П. Машковцева с женою и детьми в Дворянскую родословную Книгу Московской губернии // Коллекция В. А. Соломонова.

9.

См.: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1812–1850. М., 1974. С. 59, 64, 78.

10.

См.: Зёрнов В. Д. Учитель и друг // Тр. ИИЕТ. Т. 28: Ист.

физ. – матем. наук. М., 1959. С. 111.

11.

Письмо Н. П. Кастерина П. Н. Лебедеву от 22 ноября 1901 г. // Научная переписка П. Н. Лебедева. (Научное наследство; Т. 15). М., 1990. С. 190.

12.

Письмо П. Н. Лебедева Н. П. Кастерину от 14/2, XII [описка; надо – 14 января] 1901 г. // Научная переписка П. Н. Лебедева. (Научное наследство; Т. 15). М., 1990. С. 193.

13.

Письмо В. Д. Зёрнова Е. В. Власовой от 16 июня 1905 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

14.

Зёрнов В. Д. Записки русского интеллигента // Волга. 1993. № 8. С. 138–139.

15.

Труды Общества любителей естествознания. Т. XII. Вып. II (Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. CVII. Вып. II). М., 1904. С. 41, 42.

16.

Коллекция В. А. Соломонова.

17.

См.: Dvorak V. Bemerkung zu der Arbeit von W. Zernov: Über absolute Messungen der Schallintensität // Annalen der Physik. 1907. В. 22. Р. 606–608.

18.

Отзыв члена-корреспондента АН СССР Н. Н. Андреева о научных работах профессора В. Д. Зёрнова от 6 декабря 1937 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

19.

Письмо А. К. Тимирязева М. В. Зёрновой от 3 октября 1946 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

20.

Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1993. № 8. С. 127.

21.

Подробнее см.: Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1993. № 10. С. 109–120.

22.

Письмо П. Н. Лебедева П. И. Митрофанову от 25 октября 1908 г. // Научная переписка П. Н. Лебедева.... С. 286–287.

23.

Письмо П. Н. Лебедева П. И. Митрофанову от 25 октября 1908 г. // Научная переписка П. Н. Лебедева.... С. 287.

24.

Подробнее см.: Соломонов В. А. Императорский Николаевский Саратовский Университет: История открытия и становления (1909–1917). Саратов, 1999. С. 21–42.

25.

Письмо П. Н. Лебедева Н. Н. Шиллеру от? мая 1909 г. // Научная переписка П. Н. Лебедева.... С. 292–293.

26.

Письмо В. Д. Зёрнова Е. В. Зёрновой от 30 апреля 1911 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

27.

Письмо В. Д. Зёрнова Е. В. Зёрновой от 17 июня 1914 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

28.

Речь не установленного лица на траурной панихиде по

случаю смерти В. Д. Зёрнова. 3 октября 1946 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

29.

Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1994. № 3–4. С. 125.

30.

Справка Управления КГБ СССР по Саратовской области от 9 октября 1990 г. № 4 // Коллекция В. А. Соломонова.

31.

Справка Управления КГБ СССР по Саратовской области от 9 октября 1990 г. № 4 // Коллекция В. А. Соломонова.

32.

Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1994. № 5–6. С. 122.

33.

A Russia Civil War Diary. Alexis Babine in Saratov. 1917–1922; Ed. by D. Raleigh. Duke University Press. Durham and London, 1988. P. 180.

34.

Справка Управления КГБ СССР... от 9 октября 1990 г.

35.

Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1994. № 5–6. С. 126–127.

36.

Письмо С. Н. Чернова С. Ф. Платонову от 11 марта 1926 г. // Чернов С. Н. Павел Пестель: Избранные статьи по истории декабризма / Сост., вступ. статья и комментарии Т. В. Андреевой, В. С. Парсамова. Отв. ред. А. Н. Цамутали. СПб., 2004. С. 259.

37.

Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1994. № 5–6. С. 130.

38.

Коллекция В. А. Соломонова.

39.

Письмо не установленного лица В. Д. Зёрнову от? сентября 1936 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

40.

Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1994. № 7. С. 136.

41.

См.: Зёрнов В. Д. Табличный и механический гармонический анализ (Таблицы Ципперера и гармонический анализатор О. Мадера) // Труды МИИТ.

1926. № 2. С. 5–16.

42.

См.: Зёрнов В. Д. Табличный и механический гармонический анализ (Таблицы Ципперера и гармонический анализатор О. Мадера) // Труды МИИТ. 1926. № 2. С. 15–16.

43.

См.: Зёрнов В. Д. Табличный и механический гармонический анализ (Таблицы Ципперера и гармонический анализатор О. Мадера) // Труды МИИТ. 1926. № 2. С. 11, 16.

44.

См.: Зёрнов В. Д., Брянцев П. А. К вопросу о звукопроводимости строительных материалов // Труды МИИТ. 1929. № 10. С. 265–272; Они же. Определение теплопроводности некоторых строительных материалов // Там же. С. 279–285.

45.

Девильковский [М. А.], Рытов [С. М.]. Рецензия на учебник физики профессора В. Д. Зёрнова. Машинопись. Л. 1, 13 // Коллекция В. А. Соломонова.

46.

Ответы тов. Зёрнова на замечания, данные в рецензии т. т. Девильковского и Рытова. Машинопись. Л. 13 // Коллекция В. А. Соломонова.

47.

Цит. по: Андреев А. В. Физики не шутят. Страницы социальной истории Научно-исследовательского института физики при МГУ (1922–1954). М., 2000. С. 36.

48.

В настоящее время личный архив В. Д. Зёрнова входит в состав частной Коллекции документов по истории Саратовского университета В. А. Соломонова (Саратов), открытой и доступной для любого серьезного исследователя.

49.

Зёрнов В. Д. Воспоминания. Рукопись. Тетрадь 1 // Коллекция В. А. Соломонова.

50.

См.: Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1993. № 7–11; 1994. № 2–7.

51.

Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти томах. М., 1956. Т. VIII. С.

405.

52.

Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1993. № 7. С. 119.

53.

Герцен А. И. Собр. соч. М., 1956. Т. VIII. С. 290.

54.

Данный раздел составлен публикатором, объединившим в одно целое два авторских обращения к пятилетнему внуку, помещённых в начальной и заключительной частях 1-й тетради рукописи.

55.

Отец Д. Н. Зёрнова – профессор Николай Ефимович Зёрнов (1804–1862), читавший курс чистой математики в Московском университете с 1835 года по 1862 год, по свидетельству специалистов, «внимательно следил за новейшими достижениями науки и использовал их в своих лекциях, которые находились на уровне передовой науки того времени. Написанный им в 1842 г. курс математического анализа считался лучшим курсом. [...] Как преподаватель Зёрнов пользовался большим и заслуженным авторитетом у студентов. Следует отметить, что Зёрнов был одним из немногих профессоров университета,

выступавших за допуск в университет женщин» (История Московского университета. В 2 т. Т. 1. М., 1955. С. 123).

56.

Трёхтомный труд Д. Н. Зёрнова «Руководство описательной анатомии человека» (М., 1890–1892), выдержавший в общей сложности 13 переизданий.

57.

«Обыкновенно, — замечал в связи с этим П. И. Карузин, — профессора теоретических предметов занимались медицинской практикой, занятия которой были возможны благодаря малой дифференцировке и небольшому объёму курсов». Что же касается Д. Н. Зёрнова, то в начале своей научно-педагогической карьеры он, «несмотря на скромное доцентское жалование (1200 р.), не желая отвлекаться от своей работы в Университете, совершенно отказывается от врачебно-практической деятельности, не берёт на себя никаких дел вне Университета, все свои силы и способности отдаёт на выработку курса и улучшение для преподавания на самых широких основаниях» (Карузин П. И. Указ. соч. Л. 3, Зоб.).

58.

Зоологический музей Московского университета основан в 1791 году как Кабинет натуральной истории; открылся для

посетителей в 1805 году; в 1896–1902 годах по проекту архитектора К. М. Быковского было построено современное здание музея.

59.

Слово имеет семь значений; в данном случае – пункт, место (фр.).

60.

Имеется в виду коронация на российский престол Николая II, проходившая в Москве 14 мая 1896 года.

61.

Так дети ласково называли Настасью Александровну Пудину (1855–1928), прослужившую в доме Зёрновых пятьдесят лет.

62.

О пристрастии отца к сочетанию умственного и физического труда, В. Д. Зёрнов в одной из своих неопубликованных статей вспоминал так: «Всё свободное время в деревне, если не было спешных корректур постоянно переиздававшегося учебника, отец проводил в саду, то вскапывая новые грядки под клубнику, то выпиливая сушь, то подрезая дички у яблонь, то опрыскивая или обмазывая их. У него собралась хорошая библиотека по цветоводству, плодоводству и

пчеловодству. Если работы в саду не было, отец работал в своей мастерской, строя немудрую мебель или какие-нибудь приспособления нужные в саду или в домашнем хозяйстве» (Зёрнов В. Д. Профессор Дмитрий Николаевич Зёрнов. Рукопись. // Коллекции В. А. Соломонова Л. 11).

63.

Берейтор – специалист, обучающий верховой езде.

64.

Головкины – старинный дворянский и графский род. Наиболее известными представителями его являются: Гавриил Иванович Головкин (1660–1734), канцлер и сенатор, приближённый и доверенное лицо Петра I, возведенный в 1707 году в графы Римской империи и утверждённый в этом звании в 1709 году, начав собою тем самым первый на Руси графский род. И три его сына: Иван Гаврилович (1687–1734), посланник в Голландии и сенатор; Александр Гаврилович (1688–1760), посланник в Берлине, Париже и Голландии и сенатор; Михаил Гаврилович (1699–1754), главный директор монетной канцелярии (в Москве) и канцелярии монетного управления.

65.

Сочельник (сочевник) – канун дня Рождества Христова.

66.

Имеется в виду Торговый дом «Юлиус-Генрих Циммерман» в Москве (Кузнецкий мост, дом Захарьина).

67.

Речь идёт о директоре Департамента общих дел Министерства народного просвещения Василии Александровиче Рахманове (1851—после 1914).

68.

Екатерина Егоровна Машковцева (1846–1892), тётя В. Д. Зёрнова по материнской линии.

69.

В Новосибирске семья Зёрных, эвакуированная вместе с другими сотрудниками Московского института инженеров железнодорожного транспорта, находилась с 1941 по 1942 год.

70.

«Ах, такой маленький!» (нем.).

71.

«Поповка» – тип русского броненосца круглой формы, проектированного и построенного по идее и под руководством адмирала Андрея Александровича Попова

(1821–1898).

72.

Аршаулов Вадим Павлович (1858 или 1859–1942), инженер-техник, инженер-механик, изобретатель, автор ряда усовершенствований дизельных двигателей. Профессор Политехнического института. В 1906–1912 гг. преподавал проектирование судовых механизмов в С.-Петербургском технологическом институте, в 1912–1916 гг. – в Институте путей сообщения имени Александра I. Входил в Высочайше учреждённый Особый комитет по усилению военного флота на добровольные пожертвования, один из председателей Общества пароходства по Волге и Каспийскому морю «Кавказ и Меркурий». В 1906–1916 гг. член правления бельгийского акционерного общества «Русский провиданс»; Общества технологов. Член советов: строительного общества «Гриффитс и К^о», французского общества «Сумских машиностроительных заводов», член правления общества электрических аккумуляторов «Рекс», директор транспортного и страхового общества «Кавказ и Меркурий». После 1917 г. В. П. Аршаулов эмигрировал во Францию, где продолжил активно заниматься научно-педагогической и общественной деятельностью. Умер 28 декабря 1942 года в Париже.

73.

Дополнительных сведений о существовании и дальнейшей судьбе этой исторической реликвии обнаружить не удалось.

74.

Имеется в виду экскурсия В. Д. Зёрнова в Грецию в 1903 году в составе студенческого историко-филологического Общества при Московском университете.

75.

Вера Николаевна Краснопевцева [урождённая Зёрнова] (1838–1909) и Александра Николаевна Зёрнова (1833—?), тёти В. Д. Зёрнова по отцовской линии.

76.

Директором Московской 5-й гимназии Александр Николаевич Шварц (1848–1915) был утверждён 22 октября 1887 года и оставался в этой должности до 1900 года; пост министра народного просвещения он занимал с 1 января 1908 года до 25 сентября 1910 года.

77.

Детский симфонический оркестр при Синодальном училище в Москве организован А. А. Эрарским и его женой в 1887 году и просуществовал до 1897 года.

78.

Подробнее об изобретённых Эрарским инструментах и их техническом устройстве см.: Кашкин Н. Д. Детский оркестр А. А. Эрарского // Русские ведомости. 1895. 8 апреля.

79.

Речь идёт о виолончелисте Иерониме Леонидовиче Померанцеве (1875—?), окончившем математическое отделение физико-математического факультета Московского университета и служившем затем контролёром на Северной железной дороге.

80.

Для детского оркестра Танеевым была написана симфония в 4-х частях, судьба которой до сих пор остаётся неизвестна.

81.

В приведённой автором биографической справке о Ю. Н. Померанцеве допущена неточность.

82.

В период с 1889 года по 1901 год директором Синодального училища являлся музыковед, палеограф и хоровой дирижёр, профессор Московской консерватории Степан Васильевич (у автора ошибочно указано – Фёдорович) Смоленский (1848–1909).

83.

Речь идёт о концерте детского симфонического оркестра, состоявшемся в зале Синодального училища 9 апреля 1895 года. В связи с болезнью Эрарского дирижировал им Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов (1859–1935); исполнялись переложения пьес Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского, а также специально написанные для этого оркестра пьесы Аренского и Корещенко.

84.

Анатолий Александрович Эрарский умер в 1897 году.

85.

Речь идёт о широко распространённом в тот период и не утратившем своей эффективности и спроса в наши дни методе «прямого» (наглядного беспереводного) обучения иностранным языкам, разработанного американским педагогом, немцем по происхождению, Максимилианом Бёрлицем (1852–1921).

86.

Страстная неделя – последняя неделя отмечаемого православной церковью перед Пасхой Великого поста. В эти дни верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа перед его мученической кончиной на кресте.

87.

Имеется в виду Татианинская, Никитского сорока, домовая церковь при Московском университете, построенная по проекту архитектора Е. Д. Тюриня и действовавшая с 1837 года по 1919 год. В советское время в её помещении размещался Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ. С 1995 г. служба в церкви вновь возобновилась.

88.

Храм Христа Спасителя – величественное 103-метровое сооружение, вмещавшее под свои своды 7200 человек, было воздвигнуто в 1837–1883 годах по проекту архитектора К. А. Тона в память победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года. В 1931 году на месте храма было решено воздвигнуть гигантский Дворец Советов. «Храм Христа Спасителя был буквально ободран и выпотрошен: его богатейшее внешнее и внутреннее убранство по большей части погибло. 5 декабря 1931 года серией взрывов храм был уничтожен. Но и Дворцу Советов не было суждено „вознестись“ на этом месте – помешала война, а после войны было не до дворца. В огромном котловане был создан плавательный бассейн «Москва»». (Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. Изд. 2-ое стереотипное. М., 1999. С. 307).

89.

Просфира (просвира) – маленький круглый белый пресный хлебец, употребляемый в некоторых православных богослужениях и обрядах.

90.

Светлая Заутреня – последняя ночная (на рассвете) христианская церковная служба в дни церковных праздников.

91.

Амвон – возвышение перед Царскими Вратами православного храма, ведущими в алтарь, с которого произносятся проповеди и молитвы, читаются евангелие во время богослужения.

92.

Колокольня Ивана Великого (1505–1508, надстроена до высоты 81 м в 1600 году при Борисе Годунове). «... Всех колоколов 33, из них 4 в пристройке и 29 на главной колокольне. Самый большой колокол, называемый Успенским или праздничным, находится в пристройке, в нём весу 4000 пудов. Мастер Богданов отлил его из упавших от взрыва Кремля в 1812 г. [...] Лестница, ведущая на колокольню, имеет 409 ступеней» (Русский архив: Альманах. Вып. 1. М., 1990. С. 25–26). В 1930-х годах колокольня была разрушена.

93.

Царские Врата – иначе святые или великие; находятся в середине иконостаса, через них выносятся святые дары.

94.

Московский ресторан «Стрельна» (Петербургское шоссе, собственный дом).

95.

Семья крупных российских предпринимателей, владельцев Торгового дома «Братья И., К. и Я. Прохоровы» (с 1843) и «Товарищества Прохоровской Трёхгорной мануфактуры» (с 1874).

96.

Людвиг Карлович Альбрехт (1844 – после 1898), виолончелист, композитор, музыкальный деятель и педагог; в 1878–1889 годах преподавал в Московской консерватории, в 1881–1893 годах играл в оркестре Большого театра. После 1893 года преподавал в Саратове. Из его сыновей наибольшую известность приобрёл, ставший позже музыкантом, Валерий Львович [Людвигович] Альбрехт (1878–1935). Окончив в 1897 году Московское реальное училище и Саратовское музыкальное училище, где учился под руководством отца, он с 1903 года работал

в Этнографическом отделе Музея русского искусства Александра III (впоследствии Этнографический музей) в С.-Петербурге. В 1916–1918 годах находился на военной службе в 9-ом Кавалерийском запасном полку. В 1918 году был в составе кругосветной экспедиции по спасению тысячи петроградских детей, с участием организаций Американского, Шведского и Российского Красного Креста. По возвращении продолжил работу в Этнографическом музее в качестве инвентаризатора научных коллекций и научного сотрудника (см.: РНЭ: т. 1: А – И. М., 1999. С. 42, 44).

97.

Имеется в виду Евгений Карлович [Эйген Мария] Альбрехт (1842–1894), скрипач, музыкальный и общественный деятель, один из основателей (вместе с братом Людвигом) Петербургского общества квартетной музыки (1872; с 1878 г. – Общество камерной музыки) и его пожизненный председатель.

98.

Саратовское музыкальное училище при местном отделении Русского музыкального общества, основано в 1895 году. В 1912 году преобразовано в императорскую Алексеевскую консерваторию (с 1935 г. – Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова).

99.

Премия имени Владимира Петровича Мошнина установлена в 1887 г. из средств, пожертвованных его вдовой; ежегодно присуждалась Московским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии «за самостоятельные научные исследования в области физики и химии, а также за выдающиеся изобретения и усовершенствования по практическому приложению этих наук с соблюдением очередности между ними».

100.

Владимир Германович Аппельрот умер 23 августа 1897 года.

101.

Несколько иначе кончину императора Александра III описывает современный историк А. Н. Боханов:

102.

Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве открылось в 1832 году как художественный кружок, с 1843 года – Училище живописи и ваяния, с 1866 года после присоединения Дворцового архитектурного училища – Училище живописи, ваяния и зодчества. После 1917 года на базе училища были созданы Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), преобразованные

в 1926 году в институт (ВХУТЕИН). В дальнейшем в здании много лет размещались различные учреждения. После многолетней реставрации оно передано Академии живописи, ваяния и зодчества.

103.

Далее в виде приложения автор приводит текст вырезки из газеты «Московские ведомости» от 28 октября 1894 года.

104.

Принимая участие в бальзамировании тела умершего императора Александра III, Д. Н. Зёрнов имел помимо научно-исследовательского (морального) удовлетворения также и чисто материальную выгоду. Доказательством тому является уникальный исторический документ, хранящийся в личном архиве В. Д. Зёрнова, – письмо-уведомление управляющего Кабинетом его императорского величества от 19 декабря 1894 года следующего содержания: «Милостивый Государь Дмитрий Николаевич. По приказанию Министра Императорского Двора, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что Вам Всемилоостивейше повелено выдать пять тысяч рубл[ей], за труды Ваши по лечению в Бозе почившего Императора Александра III. Об отпуске означенных денег распоряжение сделано...» (Коллекция В. А. Соломонова).

105.

О строительстве и открытии в Петербурге в мае 1909 года памятника императору Александру III имеется любопытное свидетельство непосредственно причастного к этому делу С. Ю. Витте. Вспоминая об этом событии, он писал:

106.

Речь идёт о трагических событиях, происшедших 18 мая 1896 года на Ходынском поле (северозападная часть Москвы, в начале современного Ленинградского проспекта) во время раздачи царских подарков по случаю коронационных торжеств. В возникшей давке по официальным данным погибло 1389 человек, изувечено 1300. По другим сведениям в этот день получили разной степени увечья около 5000 человек.

107.

В неопубликованной биографической заметке о жизни и деятельности Николая Ефимовича Зёрнова, его внук приводит краткие, но весьма любопытные факты из биографии и своего прадеда – надворного советника, служащего иностранной коллегии Московского почтамта Ефима Петровича Зёрнова (ок. 1750–1825).

108.

Воспоминания о П. Н. Лебедеве содержатся и в других,

ранее опубликованных работах В. Д. Зёрнова: «Пётр Николаевич Лебедев. Очерк жизни и деятельности» (Учён. зан. МГУ. Юбил. сер. Вып. ЛП. Физика. М., 1940. С. 125–150) и «Учитель и друг» (Тр. ИИЕТ. Т. 28. М., 1959).

109.

Неточность; данный инцидент произошёл 22 ноября 1887 года.

110.

По свидетельству современников, выражение «брызгаловская эпоха» для московского студента-восьмидесятника звучало так же определённо, как, например, «аракчеевщина» или «бироновщина». Возникший в студенческой среде заговор против Брызгалова конечной своей целью имел вынудить последнего уйти в отставку. Для этого во время студенческого концерта, проходившего в зале Благородного собрания 22 ноября 1887 года, инспектору было нанесено публичное оскорбление. Менее чем через полгода после этого – 1 марта 1888 г. – А. А. Брызгалов скончался.

111.

Исполнителем этой акции по жребию стал студент 3-го курса юридического факультета А. Л. Синявский. По воспоминанию Б. А. Щетинина, он «выглядел тихоньким,

скромным юношей, необщительным и даже несколько застенчивым. Невольно рождался вопрос: как он мог решиться на такой отчаянный поступок? Очевидцы говорили, что он подошёл к Брызгалову не совсем твёрдой поступью, даже слегка пошатываясь как пьяный, и, нанося удар, чуть было не споткнулся» (Щетинин Б. А. Первые шаги (Из недавнего прошлого) // Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 544).

112.

Н. В. Бугаев был очень высокого мнения о своём учителе, о чём ярко свидетельствует его речь, посвящённая памяти Н. Е. Зёрнова – «Математика как орудие научное и педагогическое», с которой 12 января 1869 года он выступил в заседании Совета Московского университета.

113.

Имеется в виду капитальный труд Н. Е. Зёрнова «Дифференциальное исчисление, с приложением к геометрии, составленное Н. Зёрновым, ординарным профессором Императорского Московского Университета» (М., 1842).